

В. ПОМЕРАНЦЕВ

Итога, собственно, нет...

РОМАН

Человек судьбу не выбирает. Но человек обретает себя в своей судьбе. На этом жизненном пространстве он либо вырастает в нечто, либо превращается в жизненную пыль.

Владимиру Померанцеву выпал удел быть Стоиком. Если угодно — максималистом в том высоком смысле слова, когда невозможно ни при каких обстоятельствах, сверхэкстремальных и сложных, разменять правду, погрешить против совести, за что и принять муки и не сломаться при этом.

Он был способен на поступки неординарные. В 1953 году в 12-м номере журнала «Новый мир» появилась статья «Об искренности в литературе», автором которой был Владимир Померанцев. Статья — манифест, статья — потрясение. Непросто было написать такую статью; то был факт не только таланта, но и гражданского мужества. Однако вряд ли меньшим было мужество Александра Твардовского, опубликовавшего эту статью в журнале, который он в ту пору редактировал.

Не стану опережать событий и говорить что-либо о романе, предложенном вашему вниманию журналом «Октябрь». Скажу о другом. Если бы меня спросили, что наиболее характерно для творчества Владимира Померанцева, чем оно отличается, я бы ответил: он был редким психологом, знатоком человеческой души. И, может быть, эта черта делала его прозу страстной и доверительной одновременно. Но одно бесспорно: все, что он писал и как прозаик, и как публицист, имело главную идею — справедливость, обостренное чувство человеческого достоинства.

В утверждении человеческого достоинства он видел свое предназначение. Будучи юристом по образованию — и на практике юристом блестящим, — он не раз противостоял надругательству над справедливостью. Казалось бы, в том и есть призвание истинного юриста. Но сделаем уточнение: Померанцев поступал так в тридцатые годы.

И снова мысленно я возвращаюсь к статье «Об искренности в литературе». Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее с таким же успехом можно было назвать «О партийности в литературе». Но мы так далеко ушли от этих сущностных понятий, мы произвели к тому времени столько лжи, что возвращение к нравственным истокам — правде, совести и чести — тем, кто вершил судьбы культуры и литературы, в частности, показалось оскорбительным.

После публикации статьи началась длительная опала Померанцева. Бюрократический аппарат, чиновники от литературы мстили автору. За пять последующих лет он практически не смог опубликовать ни строчки. Потом стало чуть легче, но ненамного. Лучшие работы Померанцева придут к читателю после его смерти.

Не скроем досады и боли: не он первый. Ему предлагали отречься от своих убеждений, написать покаянное письмо. Была у нас такая хорошо отлаженная практика — писать покаянные письма и отрекаться. Но Померанцев остался верен себе.

Литература, лишенная искренности, правды и чести, есть занятие рабское, а значит, бесплодное, неспособное подвигнуть к свободомыслию, справедливости и добру.

Так он считал, так он жил, таким остался в своем творчестве. Ярким, честным писателем. Стоиком и романтиком.

Олег ПОПЦОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Повеса, бунтарь и свободная певчая птица

Ты сам в свое время надоумил меня написать этот обвинительный акт. Оба мы были тогда еще молоды, и ты просил, чтобы дружба не обрывала мой голос, если увижу, что ты начинаешь меняться, говорить не то, жить не так... И вот я теперь делаю это. Делаю вовсе не с тем, чтобы возвратить тебя себе самому. Ты уже не способен сделаться прежним, и не стал бы я ныне тратить силы на то, чтобы заставить тебя заглянуть в себя. Нет, я пишу не с душевспасительной, а со злонамеренной целью — чтобы неумоготу тебе было читать, чтобы разные замысловатые блюда, которыми славится среди знакомых твой дом, показались им менее вкусными, чтобы задумалась дочь твоя...

Эта книга — разрыв с тобой. После нее перестану получать от тебя к праздничным дням поздравительные, не услышу по телефону покровительственно доброго баска твоего, не буду пить в новогодние ночи удивительных вин, засургученных еще до того, как мы родились. И где только они добывались тобой, эти корзиночки неправдоподобно старых бутылок? Как могли уцелеть, когда все винные подвалы страны испытали столько нашествий! Или ты это сам придавал им вкус и облик столетних? Может быть, после шампанского и всяческих водок повеселевшие гости просто не умели уже распознать? Но рюмки ты наливал так торжественно, что все верили в тайники, не откопанные немцами в замурованных подземельях Массандры, и пили эти несколько заветных глотков с пиететом, пили вкушая и, разумеется, за здоровье хозяев, у которых все так особо, так на редкость изысканно...

Ты очень радушен. Всегда был таким. Даже в юности, когда угощать было нечем. Семья ваша жила чем попало, мать пускала нахлебников да пекла хлеб за припек, а ты умудрялся

приносить нам в школу свежие ломти. Помню, как ты налавливал пескарей и другую рыбешку, мать варила ее марлевым узлом в чугуне, а нельма потом лишь увенчивала этот настой, клалась для пущей пахучести, и получалась уха, которой ты кормил заходивших друзей. Она была крепчайшей, наварнейшей, какой я потом не едал даже в дорогих ресторанах.

Сдружились мы подростками, когда ты побил голубятника. Помнишь этого Кольку, нашего сверстника с пушком на губах и зачатками баков, чему мы тогда сильно завидовали? Завидовали и другому его превосходству: орудуя на птичьем базаре, он бывал всегда при деньгах. Но на другом конце улицы у него жил соперник, и тот обладал сизо-ленточным, приводившим к нему чужих турманов. Колька жил в вечной опасности за своих голубей, и сизо-ленточный сделался его лютым врагом. Неведомо, как он этого врага залучил, но стало известно, что заколол и сварил. Это была гнусная расправа с перехитренным противником, с красавцем, которым любовались все мальчишки квартала. И, когда на помойке обнаружен был его отодранный хвост, ты, потрясенный, не посмотрел, **что** Колька много сильнее тебя, и схватился с ним. Этот честный порыв восхитил меня, и синяки на лице, с которыми ты потом долго ходил, были в глазах моих боевыми ранениями. Кажется, именно после этого случая я и стал искать твоей дружбы.

Но особенную тягу к тебе я ощутил после истории с сахарницей.

То были годы пресловутого нэпа. На главной улице города открылся магазин, продававший без карточек белую муку, шоколад, сухие колбасы, сыры. У витрин собирались толпы глазевших... И начали горожане стягивать с пальцев обручальные кольца, отчищать зубным порошком пробу на почерневших подсвечниках, искать рубли царской чеканки. Мой отец отнес сахарницу. Кейфовали мы на нее несколько дней, а потом в городе стало известно, что у поддавшихся соблазну гурманов идут обыски с выемками. Собрал тогда отец столовые ложки,

оставшиеся после матери кольца, щипцы для сахара, чайные ситечки, сунул их в банку из-под ландрина и отправился ночью в сарай закопать ее. Случилось так, что ты в это время возвращался домой, заметил в сарае мерцание свечи, подкрался, чтобы схватить татя ночного, и увидал...

— Я собираюсь вступать в комсомол, — хмуро сказал ты мне утром.— Пусть твой отец в другое место запрячет... Тогда я буду не знать и не должен буду ничего сообщать...

Это было чудесно-наивным решением смутившей тебя моральной проблемы, но я преисполнился к тебе уважением за самую попытку решать. Все мы, твои ровесники, были бездумнее...

Восторгался я и твоим бескорыстием. Помнишь, как мы ездили целой ватагой за солью, чтобы выменять ее у бурят на муку? Нам было тогда по двенадцати, и в путь мы пускались впервые. Он привел в поселок Усолье, названный так потому, что расположился у источников соленой воды. Мы обступили колодцы, из которых ее насосом выкачивали, долго наблюдали за вываркой-выпаркой, и этот нехитрый процесс показался нам тогда чудом механики. Потом мы ходили на фабрику «Солнце» смотреть, как делают спички, и мазались прославленной целебною грязью. Ревматиками мы тогда еще не были, но нельзя же было не испытать на себе, для чего эти ревматики ездят сюда. На другой день мы выменяли старые бритвы, ножи, безмен и будильник — кто что имел — на соль, которой было в каждом дворе на три поколения, и, не боясь грыжу схватить, поволокли ее к поезду, с поезда — в какой-то улус. В отличие от женщины в «Соли» у Бабея мы тащили мешки совершенно открыто и не претерпели с ними никаких злоключений. Но когда мы уже были у цели, ты увидал в юрте ружье... За возможность пострелять в беспредель и за несколько горсточек пороха пришлось пожертвовать половиной муки. Порох мы поджигали на обратном пути, чтобы хлопать в ладоши при

вспышках. А потом мы тебя ругали за то, что вовлек нас в соблазн, что промытарствовали трое суток за пшик, и ты, сознавая вину свою, отказался от доли. Мы доставили тебе ее все же домой, ты отнес ее кому-то назад...

...Вижу тебя кричащим, взволнованным возле детской коляски, брошенной у порога трактира. Ты ищешь денег, чтобы выручить из этого трактира ребенка, оставленного в залог алкоголиком. Он был уверен, что жена прибежит и выкупит сына, а та спокойно возилась дома на кухне, будучи тоже уверенной, что раз муж гуляет с ребенком, то в трактир не зайдет... Покинутый мальчик захлебывался в коляске от плача. Его адреса никто толком не знал. Трактирщик проклинал все на свете, а ты ругал его на всю улицу, и он готов был отдать что угодно, лишь бы ребенок вместе с тобой провалился в тартарары. Но когда ты порывался взять коляску и отправиться на поиски матери, он требовал, чтобы с ним расплатились... Возле вас собралось много зевак. Я их вижу сейчас, когда пишу эти строки. Они возмущаются зверем-отцом, поносят кабатчика, принимающего живую душу в заклад, сюсюкают, пытаются успокоить ребенка, посылают друг друга за молоком, за милицией, но никто не хочет платить за выпитую пьяным родителем водку, унести ребенка к себе, разыскать его дом... Ты, подросток, единственный проявляешь решительность, катишь коляску, и тогда за тобой движется толпа добровольцев...

Ты инструктор ликбеза. Под твоим началом двадцать пять ликвидаторов, таких же школьников пятнадцати-шестнадцати лет. Ты горд своим назначением, своею ответственностью. Проводишь теперь все вечера в депо, на стекольном, кожевенном, и я неделями не вижу тебя. Потом встречаю с какой-то худенькой девочкой. «Оля, — представляешь ты ее, чуть смутившись, — ликвидатор на мыловаренном»... Потом как-то утром, задолго до школы, ты у пузатой афишной тумбы на углу нашей улицы. Афиш не разглядываешь, а быстренько,

воровски, чтобы никто не видал, что-то малюешь на них. Скрываешься за углом, а я, охваченный любопытством, подбегаю к столбу. Всматриваюсь и различаю над тенорами, лекторами, боксерами послунявленный химкарандаш: «Там же 7 ч.», «Там же 7 ч.», «Там же 7ч.».

Годы и воспоминания путаются, я перескакиваю от одних эпизодов к другим без последовательности, без хронологии и сижу с тобой, бледным, подавленным, на лавочке у наших ворот. Мы оба молчим. Еще недавно ты был гордостью нашего курса, известным всему городу фельетонистом газеты, желанным в приятельском кругу человеком, а теперь отовсюду изгнан, заклеямен, ошельмован, и некоторые стали даже сторониться тебя... Эх, несдержанность твоей прямолинейной натуры! Ну разве можно было надавать пощечин редактору! Разве можно было ставить на карту свой заработок, свой студенческий билет, свое будущее! И, главное, из-за кого?! Из-за какой-то воровки! Соучастницы громкого уголовного дела. Служащей бюро хлебных карточек, где их крали и продавали... Ты должен был писать об этом деле отчеты в газете, а фоторепортер—заснять подсудимых. Но женщина увертывалась от объектива и, пока фотограф упорно старался поймать ее профиль, билась в истерику. «У меня дети, — кричала она, — пожалейте детей!» Эти крики остались в ушах твоих, и ты умолял редактора не помещать фотографии. Тот сердился, даже кричал на тебя, но ты наседал на него, не отступался, «Ну, хорошо, черт с тобой, — не выдержал он, — поставим другое клише, отвяжись». Ты облегченно вздохнул... Утром конвой дал подсудимым газету с их фотографиями. Днем, когда их вели во двор на обед, женщина бросилась через перила в пролет. Вечером в типографии при десятках наборщиков ты бил редактора по обеим щекам, потом побежал к печатникам, схватил ведро краски и плеснул на него. Редактор уехал из города, а тебя вышибли из газеты, из вуза...

Не помню теперь, кто и как возвратил тебя после этого в

жизнь, но помню деревню, в которую нас послали воевать против масленицы. Мы читали какие-то антирелигиозные и антиалкогольные лекции, но сами не сдюжили ни бога, ни водки. Лекторов понесло, закружило... Одуренные медовухой, мы горланили песни, катались на розвальнях, выталкивали друг друга в сугробы, целовались с несчетными девушками и бессильно отбивались от них, когда они гурьбою валили нас, притащив дрова и веревки. Это был здесь на масленой веселый обычай, какого потом я уже нигде не встречал, — холостяку привязывалось полено к ноге, и он должен был его волочить, пока не давал слово жениться. Ты хохотал и молил, давал обязательства направо-налево, и тебя били за такую сговорчивость.

А как чудесно мы безобразничали, когда твои мать и сестра уехали однажды на лето в деревню и ты остался в квартире один! В запальчивой оппозиции к соседям, ложившимся с первой звездой, и вообще ко всему степенному, благоразумному люду ты надписал над входной дверью своей: «Дом для блуда и пьянства». Вызвал желанную бурю негодования всей нашей улицы. А на деле мы меньше пили, чем просто шумели, меньше распутничали, чем просто ухаживали, и часто даже ревновали, вздыхали. А когда в «дом для блуда и пьянства» нагрянули милиционеры с понятыми, с возмущенными гражданами, они не застали в нем ни девушек, ни даже бутылки вина. В тот вечер ты читал мне свой доклад о покорявшем тогда Европу философе.

Какой овацией сопровождали потом на факультете твое выступление! Сколько разговоров было о нем! А отчего? Ведь ошеломить нашу аудиторию было непросто. У нас подобрался тогда очень крепкий народ, и были парни много начитанней, было несколько человек полиглотов, были ораторы со свободно лившейся, безукоризненной, отточенной речью. Ты уступал этим звездам, но именно ты нас всех взбудоражил, именно тебя стали потом называть, говоря, что среди нас вызревают

заправили будущих дней. Это оттого, что в тебе не было ничегошеньки вялого, вражда и симпатии выражались напрямик, безоглядно, в страстях чуялась сила неукротенности и все твои утверждения шли от сердца и обращались к сердцам.

Хорошо помню здоровый и, казалось, безответный вопрос который философ задавал, а ты разрешал. Если меркой добра и целью стремлений людей является счастье, то почему, спрашивал он, это должно быть счастье других, а не мое... Пусть эта каверза была антиреволюционна и полна разъедающей горечи, но одолеть ее логическим путем было трудно. Ответ на нее подсказала тебе собственная сущность твоя, недаром через три года, на выпускном вечере, ты самовольно снял с тортов шоколадных зайцев и вынес их заглядывавшей в окно детворе. О, ты совсем не считал, что вся радость человека должна сводиться лишь к той, что он доставляет другим, но знал, что никому не удастся смеяться, если за стенкой плачут.

Ты мало оперировал учеными мнениями, как это делали другие докладчики, заставлявшие многочисленных авторов между собою сшибаться. Это было занимательным спортом будущих профессоров и доцентов, и чем больше имен они сталкивали, тем умней слыли сами. А ты, не помышлявший об ученой карьере, рассказывал, как зябко становится человеку в тулупе и валенках, встречающему человека в ботиночках... Ты говорил о неполноценности радости, которую дает тебе будоражащая умная книга, не прочитанная, однако, твоими друзьями. И помню, ты сравнивал устройство человеческих обществ с многоярусностью городского театра, где с галерки ничего не видать. Одни люди изошряют свой ум в тончайших произведениях мысли, другие неграмотны, а третьи живут в такой дикости, что и о самом существовании грамоты им неизвестно. Зрелищные залы и мир, говорил ты, должны строиться так, чтобы всем отовсюду все одинаково видно было.

Вольнолюбивая и войнолюбивая у тебя натура была! Как мы хохотали, когда ты напугал мадам Н. и она бросилась в бегство! Это была жена известного в городе деятеля, раздобревшая дама в каракулях. Мы повстречали ее, ты подошел к ней: «Скажите, гражданка, вам удастся спать без снотворного? Ведь сколько овечек из-за вас жизни лишились. А вы от этого прекрасней не стали. По-моему, вас должны мучить кошмары из-за даром пролитой крови...» Она обомлела и в ужасе, словно ты собирался снять с нее этот мех, быстро-быстро засемила своими коротенькими ногами-кувалдами...

А скандал, учиненный тобой профессору-медику! Он приезжал к отцу одного из наших студентов, взял за визит полстипендии, выписал дорогие рецепты, прохмыкал несколько подбодряющих слов. А знал, что пациента к ночи не станет... Ты поймал этого эскулапа-стяжателя в клинике, окруженного ассистентами в белых халатах, и вручил ему счет, выписанный похоронным бюро... Об этой истории говорил потом целый город.

Ты действовал, как побуждала душа, и не умел подчиняться порядкам, приходившимся не по тебе. Не страшился поднимать иногда на собраниях одинокую руку... Так было в истории с К., исключавшейся из комсомола за то, что помогала матери тайно портняжить, скрывая от финотдела свой заработок. Так было и в случае с отправкой на дровозаготовки в тайгу, когда ты утверждал, что обязывать к этому можно лишь тех, кому выдадут валенки. Так было и с делом девчонки, которую лишали стипендии, потому что она-де имела доход, продавая на рынке присылавшееся ей матерью сало... «Как можно идти против целых собраний!» — шептали иные друзья твои, уговаривая держать при себе все эти небезопасные мнения. Ты отвечал, что тебе легче высказывать их, чем разделять безопасные. «Есть что-то внутри у меня посильнее собраний... не позволяет оно... не могу...»

Видишь, сколько на моей памяти отрывочных, но не бессвязных историй. Я единственный из всех, кто ныне приходит в твой дом, знал тебя и повесой, и бунтарем, и свободной певчею птицей. Единственный, кто может еще распознать в твоём пожилом лице прежние молодые черты. У меня, между прочим, сохранились и некоторые старые снимки. Вот групповой, всего выпуска. Ты среди тех, что сидят на полу, в ногах у первого ряда. Наверное, потому оказался не в центре, что был добродушно-покладистым и сел, куда распорядился фотограф. Лицо твоё, обычно всегда выразительное, улыбочное или нахмуренное, здесь выглядит глуповато-удовлетворённым, бездумным и похоже на... Мне его не с чем сравнить, но раз взялся писать о тебе, то какой же автор я буду, если сравнения не подберу... похоже оно на твоё собственное лицо в те минуты, когда ты последнего в лузу укладывал и на выигранный рубль поил пивом партнера. «Играл без отыгрыша, а обыграл, — читается на этом лице, — балбесничал четыре года, а кончил».

Мы не так уже часто встречались в последние годы—по торжественным дням или в случаях, заставлявших меня прибегать к тебе, — но нас связывала почти целая жизнь, и потому эта дружба казалась пожизненно прочной. Люди, с которыми сближался ты позже—по совместной работе, общественным нитям или через жену, — занимали больше места в твоей жизни, чем я, но это были знакомства, приятельства, а не сплетенности. Такие сплетенности образуются лишь совместною молодостью, совместным старением. Тем больнее, тем глубже поранит тебя наш разрыв...

О, ты, конечно, во мне не нуждаешься. Никогда ты не обращался ко мне за какой-нибудь надобностью. Наоборот, просителем время от времени бывал только я. И поэтому любой арбитраж, который собрался бы нас рассудить, несомненно, счел бы тебя сейчас стороною страдающей, а меня—незаслуженно причиняющей горечь. Но подумай, признайся себе и скажи:

разве не приношу я и себе много горечи, решаясь гласно от тебя отмежевываться?! Разве неясно, что для этого нужно было в чем-то больно-больно разочаровываться, чему-то долго-долго накапливаться?..

Ведь сначала я думал не рвать нашу связь, а предать ее угасанию, находить предлоги не бывать у тебя, не приглашать самому... И если сел потом все же писать — значит, иначе не мог, значит, так нужно...

Твоя молодость молода была по-настоящему, то есть в ней было все: умственная свобода, девушки, книги, пиры, нужда, правдоборство, труд, лоботрясничество и органическая уверенность в будущем. Помню тебя в латаных валенках и помню на тебе модные в те времена роскошные высокие бурки, заведенные на подвернувшийся заработок. То ты ходил в одном несносимом лоснившемся френче, то появился вдруг в новенькой, от самого дорогого портного, студенческой куртке. У тебя никогда не было обилия денег, отнимающего волю к труду, и ты часто писал что-нибудь целые ночи, чтобы получить в редакции пять-шесть рублей, или листал словари, чтобы за такую же сумму вдохновенно перевести для чьей-то ученой корысти целый ворох статей с едва знакомого тебе языка, но тебе жаль было гасить этими нелегкими заработками накопившиеся счета за квартиру, и ты тратил их на любопытные книжки, пароходный рейс до Ольхова с какой-нибудь девушкой или просто на очередной сабантуй.

С деньгами у тебя вообще часто случалось неладное. Однажды ты взял аванс под положительный очерк о первом трактористе Сибири, а тот хоть и был человеком новой профессии, опоил тебя совершенно по-старому, ты ничего в предназначенный номер не сумел написать и принужден был потом долго доказывать, что тебя вовсе не тянет к вину, что это так вышло... Пил ты действительно не больше других, только в компании, и любил ее не ради вина, как и читал ты не ради чего-

то, а ради читаемого, испытывая от этого чистую радость и умея — что лишь чистым людям дано — становиться все лучше и лучше по мере запечатления книг. Ты переходил и от одной глупости к следующей, и от одного умного дела к другому. Мог проиграть в бильярдной половину стипендии и мог в то же время, заспорив с профессором, отвергавшим психологическую теорию права, запоем прочесть десятки книг об этой теории и написать потом собственную, пусть не изданную, но зато доказавшую, что ч у в с т в о права не менее важно, чем норма его, и законодателю следует постоянно заботиться, чтобы она не бывала в разноречии с ним. В тебе вперемешку уживались многие страсти и склонности, из избытка натуры своей ты мог черпать самое разное, на любые предприятия был готов, кроме низких, и ненавидел только одно—всякого рода преснятину.

В тебе, наверное, не было четких склонностей и больших дарований— журналистикой ты лишь прирабатывал, а правоведом не стал, — но была большая душа, и рядом с ней бледнели талантики, а темные вопросы светлели. Тут, вероятно, имело значение, что в отличие от нас, горожан, проводивших детство в базарных рядах, среди скучных заборов и кирпичных амбаров, ты часто жил под Хамардабаном у дяди. До высокого прибайкальского пика доносились только чистые звуки природы, с него становились зримей другие хребты, на нем лучше чуялись излишества людской суеты на низинах земли, мир оттуда виделся мне ясней, много непосредственней, проще... Ты любил и поездки в рыбацкие поселки, на заимки, в деревни, привозя оттуда свойственную неискушенному люду свежесть взгляда на вещи и ту доброту, с которой в Сибири привыкли обогревать и кормить проезжающих. Да, если бы характер твой складывался только среди горожан, в нем недоставало бы многого, что отличало тебя и от книжников, и от повес.

Добрыми были и твои авантюры...

Вел у нас семинары по уголовному праву омерзительный

тип, крутившийся в чьих-то передних и выхлопотавший себе там доцентуру. Ортодокс за пюпитром и циник в душе, похотливый, как суслик, скабрзный, он подбирал все казусы только из области половых преступлений, словно других не совершалось вообще, при этом выискивал случаи самые пакостные, вгонявшие девушек в краску, и всегда норовил принимать от них зачеты у себя на дому... На него много раз жаловались, против него было много свидетельств, но выгнать его было трудно, его постоянно спасала чья-то рука. Но вот однажды от него в слезах убежала студентка, и случилось так, что ты с ней столкнулся на улице. Она рассказала... Ты бросился за мной, за другими приятелями, и мы тут же отправились к нашему нравоучителю на дом. «Даем вам неделю, чтобы уехать из города,— объявил ты ему. — Защиты ни у кого искать не пытайтесь. Если на нее понадеетесь, вам не помогут уже и в хирургической клинике...» Он понял, что это серьезно, что ты ему действительно переломаешь все кости, и уложился в назначенный срок...

Ради хорошего дела ты решался и на анархистские выходки, и даже на остроумный шантаж. Однажды к одному из студентов ушла от родителей девушка. В общежитии их приютить не могли, денег на комнату не было, и молодожены поселились в конце коридора, отгороженные лишь занавеской. Прожили так несколько суток, потом комендант стал их гнать. А уходить было некуда... Узнав об этой печали, ты пораскинул мозгами и... накропал вирши о клоповнике. Отправился с ними к владельцу подворья. Так назывались гостиницы. В городе их было немало, они между собой конкурировали. Хозяин подворья тоже пораскинул мозгами и предпочел пустить к себе бесплатных жильцов, вместо того чтобы ты пустил в ход стихи о клопах, которые-де у него заедают...

Глава 2. Как в старинной новелле

Но самой большой авантюрой была твоя собственная женитьба, твоя победа над своенравной москвичкой. Я знал эту

красивую, капризную женщину, с которой ты прожил несколько лет, и помню ребенком дочку твою, которая ныне сама уже мать, инженерствует и изредка приезжает в Москву. Тогда она была миловидной девушкой, которую, словно собачку, прогуливала по набережной очень молоденькая, но и очень надменная мама. Надо признать, что не только по тем временам и не только на взгляд обитателей далекой провинции, каким был в ту пору наш город, в этой женщине ощущалась порода, были элегантность и шик. Но как не вязался ее облик с твоим — простодушным, открытым, веселым...

Вероятно, именно эти черты да чужавшаяся нутряная сибирская сила, переданная поколениями приангарских крестьян, и остановили на себе взгляд балованной девушки, которой наскучило общество разных влюбленных очкариков. Ее изнеженное нервное тело потянулось к тебе... Впрочем, дочь члена правления банка, изучавшая иностранный язык, полагая, что это и есть специальность, не решилась бы на столь нешуточный жизненный шаг, не будучи совершенно уверенной, что ее будущий муж и житейски тоже прочно устроен. Для этой надежды были, казалось, все основания...

Но они породились мистерией... Ты завоевал эту паву, как гусар, умыкатель, персонаж позабытых итальянских новелл, как герой водевилей, в которых любовник проникает в дом девушки под видом слуги или слуга принимает обличье маркиза. Вернее, ты сам своею женитьбой написал водевиль, придумал веселое действо о том, как нищий провинциальный студент перехитрил многоопытных столичных мещан.

Занимал в ту пору небольшую квартиру в так называемом Доме правительства—сером, закрывающем солнце массиве неподалеку от Кремля— большевик, живший когда-то в Сибири на поселении и снимавший комнатуху в вашей семье. Ты был тогда еще маленьким, знакомства этого никак не запомнил, но из памяти матери оно не изгладилось и впоследствии стало

почетным. Когда ты поехал с экскурсией столицу смотреть, она дала тебе с собою письмо к нему. Старичок принял тебя по-отечески, настоял, чтобы ты у него поселился, а через несколько дней забрал с собой дочь и уехал к кому-то из тогдашних заграничных светил оперироваться. Тебя он оставил в своей квартире калифом.

Лето стояло в тот год очень душное, улицы разворочены были стройкой метро, ведшейся еще докессонными способами, большинства нынешних достопримечательностей города не было или их нельзя было видеть, и ты, обежав театры, музеи, бульвары, бросился в Москву-реку охлаждаться. На пляже нежилась великолепно сложенная девушка с полудетским лицом. С ней были парни, но ты не смог не заметить, что посматривала она на тебя... Потом ты решил покататься, осмотреть с реки московские набережные, долго стоял за байдаркой, а когда подошла твоя очередь, подошла и компания с девушкой. Им предстояло ждать на жаре, и девушка изобразила недовольную мину. Парни почувствовали себя виноватыми. «Можем вместе,— предложил ты любезно, — сейчас моя очередь». И взял не байдарку, а шестивесельную. А на веслах... ну, что за гребцы были рядом с тобой, с малолетства привыкшим одолевать Ангару: какой-то близорукий филолог, какой-то труженик консерватории по классу смычка, какой-то деятель с ключом от запасника музея кустарной игрушки или высокий, но не умевший надеть весло на уключину, не умевший даже плавать брат девушки! На прирученной, беззлобной столичной речушке ты греб за всех, греб играючи, и девушке чудилось, будто ее несет вечным двигателем, несет по воздуху, неизвестно куда...

Но и тебя понесло... Прогулка на лодке положила начало знакомству, без которого все остальное стало бы уже нелюбопытным в Москве. Ты не находил теперь времени для земляков, с которыми прибыл, и когда они уезжали смотреть чудеса Ленинграда, оставался в Москве... И когда они

возвращались в Сибирь, задержался... Тебе было тогда двадцать два, женщин ты знал уже и городских, и таежных, насмотрелся и на чужие романы и сам не мог поверить себе, что втюрился вдруг, словно школьник, и что это так цепко...

Но ты не открылся ей. Не сказал, что приезжий. Сказал лишь, что родился в Сибири, жил там. И вообще мало говорил о себе... Чужал, что Сибирь для нее слишком далека и морозна. Как и для ее благоразумных родителей... Когда ты стал у них часто бывать — в двух больших смежных комнатах большущей коммунальной квартиры, которую предки их занимали когда-то всю целиком, то почувствовал, что это не место для рассказов о домике, утепляемом на зиму снегом, приваливаемым почти до окон... Расшатанная громоздкая мебель красного дерева, старинный хрусталь, потускневшее золотое тиснение Брема, выцветшие драпри из тяжелого шелка и скромные ужины на кузнецовских тарелочках свидетельствовали, что в дом нет притока, но вкусы и представления в нем не менее крепки, чем бронзовый всадник, стоявший на книжном шкафу. Было бы просто нелепо рассказывать в этой семье о другой, с утра дожидавшейся, привезет водовоз воду или нет...

Отец Оли был великим специалистом по кредитному праву, его порадовало, что молодой человек знает имена корифеев юриспруденции прошлых времен, и зачем было хвастаться, что он знает еще, как мастерить крышку погребка... Олина мать сдержанно выводывала у гостя о семье, о родных, казалась довольна, что они иркутяне, живут от него далеко, и ему не хотелось сказать, что живут они от него ближе близкого... А Олин брат увлекался бактериологией, на все зримое без микроскопа смотрел безучастно, любопытства к возможному родственнику не проявлял, с ним вообще было проще... Ты допустил, правда, оплошность, заинтересовав его мошкаррой, о которой он стал сейчас же расспрашивать, но когда Оля воскликнула «Какой же там ужас!», то спохватился. Оля бы

никогда не поехала, да и родители не отпустили бы ее в дикий край, где эта мошкара так свирепствует, где в двух шагах эскимосы, где ходят полгода в валенках, обед варят в русских печах и едят строганину, от которой глисты.

Да, на край света она бы ни за что не уехала, но из коммунальной квартиры рвалась. Ей так надоели соседи, вечная перебранка по любым пустякам, синие, рыжие и зеленые почтовые ящики, азбука морзе у кнопки звонка, расписание ванн и дежурства по уборке, персональные ведра с очистками и взаимные изобличения лиц, не погасивших за собой света в уборной, — что из-за одного этого она готова была на замужество с любым принцем из отдельной квартиры. Квартировладельцами в тогдашней Москве были именно одни только принцы. И когда ты, гуляя, предложил ей зайти посмотреть, как живешь, и она увидела здание, за пороги которого только считанные люди ступали, а потом вынул ключ и распахнул перед ней двери в царство, то предстал уже даже не королевичем (тот мог обладать только комнатой, живя с мамой и папой), а утвердившимся, коронованным, единоличным властителем. У Оли и без того кружилась от тебя голова, а тут она совсем потеряла ее...

Напрасно впоследствии, оправдываясь перед судом, ты напоминал, что ни разу не называл квартиру своей. Это было несвойственной тебе казуистикой. Ведь ты не называл ее и чужой! И когда Оля через неделю к тебе переехала, когда вы по несколько суток не покидали квартиры, спускаясь из нее лишь за булками и колбасой, ты тоже еще не решался признаться, под чьей вы крышей кейфуете... И когда родители Оли, продавая заветные, оставшиеся от бабушки кольца, купали ей картонки сорочек, выискивали допотопных монашек, чтобы вышить гладью монограммы на постельном белье, когда они преподнесли тебе часы и костюм, созвали родню и знакомых на свадьбу, заставившую специалиста по кредитному праву залезть в

неоплатный кредит, у тебя все еще не хватало духа сказать... О, разумеется, ты не хотел этой суеты и подарков, они тяготили тебя, и ты ужасался при мысли о том, что должно было неотвратимо раскрыться, но ты ведь и гнал от себя эту мысль...

Когда пришла катастрофа, Оля была в положении... Она жила еще в поцелуйном тумане, но ее так ошеломил твой обман, что, когда ты малодушно сбежал, взбешенному отцу не пришлось уговаривать ее подписать заявление о расторжении брака и привлечении тебя к уголовной ответственности. Ты, в свою очередь, слал за пять тысяч верст заявления, уверяя, что в заблуждение никого не вводил, клялся, что любишь жену, ждешь ее в своем городе...

И, конечно, она, отбушевавшись, приехала... Ты к ее приезду лихорадочно оклеивал стены самыми дорогими обоями, выбросил все пустые коробки с шишкинским лесом, которые мать собирала для любования, спорил с ней из-за ломаных гипсовых пастушков и собачек, наложил от ворот до флигеля доски, чтобы Олю при въезде не обляпало грязью, заменил табуретки и венские стулья дерматиновой роскошью... Но никакие твои усилия не смогли предотвратить того ужаса, с каким Оля переступила порог. Она никогда и предположить не могла, что ей может выпасть на долю так обэскимоситься, одиогениться... И с этого первого часа на лице ее появилось, чтобы на годы застыть, выражение неутешимой обиды...

И пошла у вас, надо прямо сказать, тая жизнь, как выразительно говорилось в Сибири. Сестра твоя, Олина сверстница, умолив коменданта, переехала в общежитие педагогического, куда местных не брали. Мать, стыдясь своей бедности, старалась всячески угождать московской невестке и, чтобы той было просторнее, надолго уходила из дома. А ты бегал на барахолку за плечиками, чтобы Оля могла, наконец, развесить привезенные платья, бегал за председателем стипендиальной комиссии, моля выдать стипендию за полгода

вперед, за редактором, который не верил, что ты сможешь теперь выезжать и отработать авансы... «Хочешь охай, хочешь ахай», — с невеселой улыбкой отвечал ты на расспросы: как, женатик, живешь?..

Потом одно за другим произошли три благоприятных события, и в вашей судьбе наступил перелом. Ты получил штатную должность в городском арбитраже. Хамардабанский дядя, испытав несколько приступов почечных колик, побоялся жить дальше без врачей и больниц, распродал хозяйство и купил себе в городе, за два квартала от клиник, четырехкомнатный дом. Дочери его жили замужем в разных местах Прибайкалья, вдвоем со старухой ему было бы пусто здесь, и он сам предложил тебе поселиться с ним. Старик протянул водопровод, сломал кухонную печь и поставил плиту, сменил висячий замок на английский, даже корыто для купания твоего ребенка купил. В его доме Оля и выкормила. Жена дяди пеленала, выхаживала. А когда Оля отняла от груди, ты и ей нашел заработок — стенографистки в городском исполкоме.

С деньгами вам стало сносно. Но Оля не вошла в местную жизнь, не сблизилась с твоими друзьями. Ей все здесь оставалось чужим, все было вокруг неприятно. Она ходила по объявлениям о продаже вещей, чтобы «хоть как-то обставиться», и в то же время постоянно твердила тебе, что надо выбираться в Москву. Без жены дяди, делавшей всю работу по дому, она бы и дня прожить не могла, но эта совместная жизнь угнетала ее. Коробили привычки людей, сложившиеся в полубурятском селении, раздражали кружева из бумаги, навешенные старухой в буфете, претили заваленные всякой рухлядью сени, отвращал запах столярного клея, который старик постоянно варил, тошнило от чая в грубых фаянсовых чашках... Она купила по случаю китайский сервиз, но не могла потом видеть этот тонкий фарфор в заскорузлых руках старика и не доверяла тетке мытье. Из-за этого сервиза общие чаепития

кончились, старики затаили обиду... Ты старался улаживать отношения обеих сторон, и в тоне твоём появилось что-то искательное, прежде совсем не присущее...

Оля была вовсе не глупенькой, понимала невозможность сделать жизнь такой, как хотелось бы, сознавала надобность ладить с родней, но не могла заставить себя проявлять родственность даже к твоей вовсе не назойливой матери, сдружиться с людьми, окружавшими тебя до женитьбы. Со всеми она была только сдержанной... Она много занималась ребенком, привязалась к нему и все вечера что-нибудь шила ему, делая из девочки заправское беби, или читала. Прочитала она за этот период во много раз больше, чем за всю предыдущую жизнь. В театр она с тобой ходила охотно, как охотно согласилась и с тем, что Байкал очень красив, но, взобравшись на пик Черского, откуда он открывался, ты мог долго стоять и смотреть, а она выжидала, пока тебе надоест... Увлечь ее историей, бытом, чудесами твоего необыкновенного края нельзя было. Она и прежде не была натурой восторженной, не принадлежала к числу девушек, постоянно ищущих поводов к смеху, а теперь оживленности стало в ней еще меньше. Зато усилилась склонность отличаться от местных людей, с которыми не найдено было контактов. В этом Оля весьма преуспела. Обладая картонками со старинными жабо и боа, она умела найти в этом хозяйстве и пряжку, какой ни на ком не увидишь, и пуговицы, каких не выделяют, и оторочку под тон, и кусочек шиншиллы на отделку, умела при скромном бюджете обращать на себя общие взгляды, тебе неприятна была эта тяга жены к необыкновенностям, к выставочности, но и лестно, что она становилась предметом внимания... И даже когда ее вкус перебивался безвкусицей, вычурностью, когда она чуть ли не первую в городе проделала над собой операцию, ошеломлявшую свою нелепостью, ты с тайным удовлетворением стал примечать, что и в этом ее примеру последовали, хотя не мог взять себе в толк, зачем сбрасывать

брови и лепить другие повыше.

Убедился ты также, что покупки ее, никогда не укладывавшиеся в семейный бюджет и увеличивавшие твою озабоченность, создали в доме неведомый тебе прежде уют. И с ним начала испаряться та невзыскательность, с какой в холостяцкую пору, разъезжая с баульчиком, ты ночевал на постоялых, на сеновалах и в юртах. Теперь, езда по делу в Усолье, откуда мальчишками мы тащили мешки на плечах, ты стал уже коситься на избы и просился ночевать в санаторий к ревматикам... Изредка забегая ко мне или другим старым приятелям, ты замечал теперь: «Ох и воняет же у тебя табачищем! Хоть бы одеколоном побрызгал!», «Что у тебя и пол и подоконник завалены? Как в букинистической лавке. Завел бы еще один шкаф...», «Пружины уже выпирают. Ты бы выбросил эту старую рухлядь. Если поищешь, найдешь за тридцатку вполне приличный диван»...

У тебя я теперь почти не бывал. Но запомнилось, как однажды, незадолго до моего отъезда из города, я обедал у вас. Это был воскресный день, вы общесемейно гуляли, мы столкнулись на берегу, ты вскричал: «Чудесно! У нас пирог с нельмой!» Оля тоже оказалась вдруг любезно-настойчивой, и вы затащили меня. «Разве вы не вместе столуетесь?»—удивился я, видя, что старики ели отдельно на кухне, и зная наверняка, что пирог изготовлен не Олей. «Мы теперь платим им за квартиру, за все»,—объяснила она. Ты курсировал между столовой и кухней, стараясь брать на себя всю связь между этими разобщенными лагерями, шутил по адресу обеих сторон, боясь в то же время навлечь на себя их недовольство, и я почувствовал, что семья уже что-то отняла от прежней твоей простоты, прямоты... Когда я заметил, что у вас очень мило обставлено, ты поспешил подчеркнуть, что это заслуга жены, и стал чересчур возбужденно восхвалять ее организаторский дар. Вообще жену свою ты все время стремился гладить словами. Неискупаема

была, очевидно, твоя вина перед ней...

Ты прошел у этой женщины печальную житейскую школу. Узнал, как приятно спать на тонком постельном белье, как повышается аппетит от сервировки стола и оживляется комната, освещаемая люстрой с подвесками. И это была бы полезная школа, не утрачивай ты при этом собственный голос... Такую потерю тебе неизбежно предстояло испытывать уже и вне дома...

— Не ты ли писал эту статью о загрузке арбитража разными тяжбами городских предприятий, напечатанную за подписью председателя горисполкома? — спросил я за обедом — Там заметны твои выражения.

Ты подтвердил.

— Это хорошо, — сказал я, — что сохраняешь связи с газетой. Все-таки приработок.

— Какой? Ведь статья подписана им.

— Ну и что? Писал-то ведь ты!

— Гонорар будет послан тому, кем подписано.

— Но он же тебе передаст!

— Ну вот еще! Есть ему когда вспомнить! — ответил ты, переглянувшись с женой...

Я сообразил, что председатель вызывает ее для диктовки решений и записи прений на пленумах. Да и сам ты в его системе работаешь... И стало мне не по себе... Еще недавно, не связанный семьей и службой, ты возмутился бы, услышав, что кто-то присваивает заработок, принадлежащий другому...

На столе у тебя лежали проекты решений. Мне любопытно было, чем арбитраж занимается, и я стал их просматривать. Первая же папка удивила меня. Речь шла о премиях рабочим завода, получавшим их незаслуженно меньше, чем на другом предприятии города. «Считая жалобу правильной, — решил ты

вопрос, — и признавая, что премиальные фонды при одинаковых производственных планах, одинаковой производительности труда и сходной рентабельности должны быть уравнены... снизить их на другом предприятии».

— Экономия средств, — ответил ты на мой недоумевающий взгляд.

«Взрослеет», — грустно подумал я, уходя.

Но вскоре, при расставании, я с радостью увидел, что это не так, что ты тот же самый.

Глава 3. Теперь все дело в характере

Выпускной вечер был танцевальным, как все выпускные. А вот прощальная встреча в кругу немногих друзей осталась в памяти как последний всплеск нашей юности, последний всплеск байкальской воды под веслом. Да, под утро, уже стуманенные, накричавшиеся до того, что заныли уж челюсти, мы забрались в большую рыбацкую лодку и медленно плыли по глади морской, едва шевеля ее. Тихость Байкала была удивительная, но мы знали, что он через день-другой загрохочет, запенится, начнет швырять все суденышки так, что их будет поднимать в поднебесье, и знали, что жизнь, в которую мы отныне вступаем, будет поступать с нами так же. Знали, что она разбросает нас в разные стороны, станет кидать вверх и вниз, заливать с головой, прибывать неизвестно куда... Провидеть судьбы и годы никто из нас, конечно, не мог, но уже угадывалось, как-то подчувствовалось, что дни спокойной воды уже считаны. И, отрезвляемые предрассветной прохладой, мы в лодке уже не шумели, а только давали себе тихие клятвы не отказываться ни от чего из того, о чем стоял шум. Не отказываться, несмотря ни на что. Всегда оставаться такими же, как в песнях, спорах, тостах...

Это была чудесная мысль—устроить встречу в Листвянке, за пятьдесят верст от города, в просторной избе, хозяин которой

ушел в море за сигом, а хозяйка испекла для нас пироги, нажарила сочной тайменины, раскрыла бочонок селенгинского омуля, выпотрошила все запасы икры...

Двое суток обильной еды, лихих возлияний, горячих речей... Со стола не убиралось, словно на пасху. Пили тогда исключительно рюмками, но каждый в каждый присест обязан был выпить их столько, сколько букв в его имени. Освежались в Байкале. Спали кто где, большинство на полу, который хозяйка застелила кошмой. Спали, впрочем, мало, потому что бесконечно дурачились, бесконечно ораторствовали. Незабываемо!..

Все мы к этому времени получили уже назначения. Предстояло разъехаться по городам и весям страны. Оставались лишь те, кто уже был при должностях в городе, в том числе ты. Но во всех одинаково переплетались радость, грусть, надежды, сомнения. Ты требовал не поддаваться им.

Среди нас находился самый молоденький из выпускников, милый, немножко застенчивый парень, уезжавший в какой-то из районов Урала. Он не был ни глупым, ни слабосильным, но говорил так тихо, что его приходилось иногда переспрашивать. Ты увел его шагов за пятьдесят от избы и заставил что-то кричать нам оттуда в раскрытые окна. Он силился делать это, но голос его едва доносился, мы ничего не могли разобрать. Тогда ты удвоил дистанцию. Это было, казалось, издевкой, и ничего не стало слышно вообще. Ты отвел его еще дальше—«Кричи!». Парень тужился делать это, напрягал горло, страдал и, наконец, — отчаяние придало ему сил—докричал. Тогда ты обнял его. «Вот так! Так держать! Чтобы был громкий голос. Иначе сомнут тебя...»

А что означало не дать себя смять? В чем зарекались мы, для чего требовался нам сильный голос?

Мы обещали себе приближаться духом к героям революционной поры, никогда не засохнуть душой, не пребывать

в добровольном ничтожестве, не прийти к сытой тупости. Обещали себе — стремление молодости к широкой дороге тоже играло тут роль — строить жизнь так, чтобы сама она сортировала людей, приводила таланты к известности, каждому дала выпрямляться в его полный рост. Мы смеялись над нашим товарищем, ехавшим в сельский район прокурором и собравшим себе целую папку передовиц и речей о колхозах. «Ну станешь, значит, и областным прокурором,— уязвлял ты его. — Раз будешь утрами по газете справляться, как тебе следует думать сегодня, не дадут тебе сгнивать на селе»... Мы качали товарища, парня из семьи лесоруба, привезшего некогда в город целый набор таежных ругательств, от которых отучивался, заставляя себя прыгать сто раз за каждое вырвавшееся бранное слово. Сейчас он назначен был следователем и попал под начальство к грубияну. «И вот, ребята, я решил по прежнему методу сто раз скакнуть, если он меня обхамит, а я промолчу ему». Мы чуть не вытрясли из этого настойчивого парня все внутренности... Мы ругали тех, кто недоволен был своим назначением в глушь («Народовольцы,—говорил ты им, — сами выбирали места потемней»), и коллективно сочиняли письмо запорожцев султану— сокурснику, не поехавшему с нами в Листвянку. Единственный из всех нас он должен был вскоре поселиться в Москве. Это был парень средних способностей, но имевший счастье оказаться племянником какого-то столичного деятеля, и его отобрали для дальнейшего учебного курса — подготовки к дипломатической деятельности. «Вам уготованы будут по чину,— писали мы в отличие от запорожцев изысканно,— роскошные апартаменты, «мерседес» и метрессы. И вам предстоит делать историю. Поэтому вы поступили разумно, поспешив отчислить нас от друзей своих. Между человеком государственным и человечками прочими всегда должна быть дистанция. Ему не следует позволять видеть себя в излишней близости... Счастливого плавания по недоступным нам водам!»

Да, и в дурачествах наших были оценки, и в них выявлялись

те чувства, с которыми вступали мы в новую жизнь. Но это не были лишь честолюбивые чувства. Все мы страстно желали служения стране и людям ее, все склонялись перед общими целями, считали себя бойцами в строю. Помню, как шумно всеми поддержан был тост сына одного командира высокого ранга, громившего в свое время хунхузов. «Поймите, ребята, — сказал он о речах, в которых слышался слишком цивилизный оттенок, — никто не будет по своей воле в окопе сидеть... Даже патриотичнейший из патриотов. Сознательности хватит у него на три, ну на пять часов... А чтобы сутки сидеть, пригнув голову, в мерзлой земле, — к этому самого себя не принудишь. Тут нужно сложение воли, сколоченность их. И люди нужны, следящие, чтобы никто не откалывался. Иначе... сами понимаете, что тогда было бы... И когда мы говорим здесь: «Я считаю», «Я хочу так-то», то иногда забываем... Выпьем за то, чтобы не забывать!» И выпили еще за отца его, который не только бандитов бил, но и наматывал ватку на карандаш, проверяя, как вычищены стволы у винтовок, и не опасаясь прослыть солдафоном...

Но как раз потому, что мы сознавали надобность сложения воли, мы чуяли и то, как нам тяжело будет... В стране уже становилось неладно, и многие начинали испытывать разлад в понимании долга. В Листвянке мы могли как угодно сочинять свою грядущую жизнь, но на широких собраниях уже царило хоровое начало и во всяком несогласии с ним стали видеть отступничество... После молодеватых речей предстояло возвращение в город, возвращение к трезвой действительности, и на пароходике мы, словно выдохшись, уже уныло молчали. А на пристани, когда мы перецеловались, чтобы разойтись в разные стороны, ты на прощание тихо сказал:

— Давайте, ребята, запомним Листвянку... Время приходит ну-ну... Теперь все дело в характере. Никогда ни у нас, ни у папаш, ни у дедов не было в нем такой надобности... Желаю

вам, ребята, характера...

Все снова стали тебя обнимать.

Я оказался в большом волжском городе, центре индустриального хлебного края, и моя деятельность целиком поглотила меня, сразу наполнила жизнь. Находился я большей частью в разъездах, ревизуя суды, обучая их применению права и —что меня особенно в собственных глазах поднимало—стараясь внушать самое чувство его... В чем другом служитель юстиции, то есть справедливости, мог тогда видеть свое прямое призвание, чем иначе мог он в ту пору очищать свою душу?! Мне хорошо было. Хорошо и житейски: ездил вверх-вниз по матушке Волге, берега которой стояли нетронутыми, а пристани завалены копченою стерлядью, лопал камышинские арбузы, дубовские дыни, заедал жигулевское пиво астраханским рыбцом, каждый раз сталкивался с новыми лицами, новыми темами. Ну и, конечно, бывали в пути встречи на палубе, когда любишь луною в воде, и на садовых скамейках, которые обходит луна... Я считал свою жизнь великолепно сложившейся, даже непозволительно хорошей для времени, которое ты прозревал и которое уже наступало...

На первых порах мы честно с тобой переписывались. Потом письма стали редеть, делаться все более вялыми. Каждый ушел в свое, возле каждого встали уже новые люди, и становилось невозможно, ненужно вовлекать друг друга в дела, между которыми легли расстояние, время.

Время... Оно становилось непонятным и лютым... Подниматься над ним можно было лишь в одиночку, в собственном обществе, в диалоге с собой, и никому не давалось оказаться выше событий... И это было самое деятельное, полное энергии время, когда создавалась индустриальная сила страны. В нашем крае одна за другой срезались все приметные головы и возникали заводы, выпускавшие тракторы, нефтепродукты, комбайны, цемент, вагоны, станки. Душа человека

раскалывалась. В ней жили вместе признание, недоумение, страх... Все стремились оттерпеться, замереть, пережить... Но не всем удавалось быть в стороне, и с людьми творилось такое же, что происходит с деревьями—в грозу, как известно, валит дубы, но не иву, которая гнется...

Об этом периоде жизни моего поколения много говорено, много писано и еще больше будет сказано позже. Время Нерона, как и пришедшее затем через много веков время Борджиа, все неизбежное стиралось из памяти каждого нового поколения римлян, но чем меньше оставалось о них свидетельств истории, тем больше росло количество романов и драм... Потомства, к которым всегда апеллирует каждое данное время, своенравны в своем любопытстве, и пьес будущей драматургии предсказать невозможно. Кто знает, как будет выглядеть в ее толковании наше спрессованное последующей жизнью, последующими событиями, последующими умами и бумагами прошлое! Но для нас, современников, это прошлое еще слишком недавне, на суждения о нем еще слишком влияет каждый сегодняшний день. Поэтому мы то и дело систематически пересочиняем историю, превращаем ее в орудие наших страстей, вертим ею то эдак, то так, словно блин, который вертят ухватом в печи... Я не стану добавлять к тысячам свидетельств добавочные или увеличивать эту разнотолковщину. Не моя это тема сейчас. Скажу коротко, что это была пора, когда пьяный следователь, заехав к руководителю машинно-тракторной станции, удостоенному вскоре рукопожатия самого могущественного человека земли, хохоча, говорил ему: «Представление на тебя послали в Москву? Ну, и что мне оно?! Вот пойду к тебе на любую делянку и найду, за что обвинить во вредительстве». Директор заискивающе старался тоже смеяться и подливал... Когда же впоследствии я поздравил этого человека с получением пятиконечной звезды, он вопросительно-грустно ответил: «Вы думаете, что нагрудный значок всегда предохраняет затылок?»

И вот в эту годину всеобщего трепета ты совершил... да, слово п о д в и г не будет здесь слишком пафосным. Рассказал мне об этом необыкновенном поступке сам человек, ради которого ты на такое пошел. Рассказал через много лет, при случайной встрече, в разнородной компании, где тебя мало знали и были равнодушны к тебе. А он резко оборвал человека, сказавшего о тебе что-то не очень восторженное, и, кипяťясь, заявил, что ты выше любого злословия, что узнал тебя по-настоящему в годы, служившие лучшей проверкой человеческих качеств, и ты пошел тогда на такое, на что неспособен был больше никто, что он даже внуков своих будет учить брать пример настоящего мужества не из надуманных книг, а с тебя...

Ты догадываешься, что этот твой горячий защитник — наш земляк, на всю жизнь оставшийся верным Сибири, возглавляющий ныне институтскую кафедру и разные научные общества, бессменно избираемый в представительные учреждения города, всем здесь известный, маститый... Тогда он был молодым инженером, рьяным строителем, лыжником, пропагандистом дыхательной системы йогов, темпераментным и общительным парнем. Но эта общительность пришлась не по душе чьим-то мрачным натурам, предпочитавшим разобщенность людей. Тем паче, что он совершал иногда свои лыжные вылазки и с убежавшими от Гитлера немцами. Их на стройке работало пятеро. Не надо забывать, что тогда появление и одного чужеземца доставляло столько тревог, будто их вторглась через границу дивизия. Неосмотрительный русский молодой инженер сейчас же сделался предметом внимания. Сначала его вызвали, чтобы узнать, почему строительство ведется на площади, под которой, говорят, есть руда, не имеет ли оно целью утаить от народа оставляемые под землю богатства. Он ответил, что об этом надо спросить у геологов, что место для стройки не он выбирал и занят лишь на одном из участков. Его спросили, не подозревает ли он этого умысла у руководителей стройки. Он ответил, что и они лишь осваивают

утвержденный проект, что в их задачу не входило бурение... Через неделю его вновь пригласили, чтобы справиться, куда пролегает лыжня, влекущая каждое воскресенье приезжих, что они ищут за городом. Он ответил, что ничего они не ищут да и не могут найти на снегу... Его спросили, чего ищет, проводя с ними время, он сам. Он ответил, что только возможности практиковаться в чужом языке. Его спросили — да, да, так и спросили! — почему он изучает именно этот язык, а не какой-либо другой европейский. Он недоуменно минутку молчал, и его любезно спросили, можно ли занести в протокол, что он не дал ответа.

Вскоре ему стало известно, что разговоры подобного рода велись не только с ним, а и о нем. Тут было тем больше причин взволноваться, что не стало начальника стройки, затем — его сменщика, и один за другим стали исчезать инженеры. Не могло оставаться сомнений, что часы его считаны...

Знакомств среди городского начальства он не имел. Да и что оно тогда значило! Чем более влиятельный пост человек занимал, тем больше за себя опасался, тем дальше старался уходить от влияния. Идти было не к кому... Мальчишкой он жил на одной с нами улице, играл с тобой в лапту, в чехарду, вы остались на «ты», и отчаяние привело его за советом к тебе...

Никакого касательства к надзирающим и карающим органам ты не имел. Но чье-либо несчастье всегда касалось тебя. И ты стал лихорадочно думать. А по части придумок ты докой был. Сложись у тебя иначе судьба, учись ты не праву, а технике, изобрел бы в ней что-нибудь хитрое. Ум твой был чуящий, схватывающий, крестьянски-лукавый. Ум бескорыстный, веселый, всегда открывавший какие-нибудь потехи друзьям.

Этот ум заработал и быстро оценил положение. Бежать? Но есть телеграф, телефон, целая система сигналов и целая сеть зорких глаз. Нет, бежать некуда... Заболеть? Но самоувечье будет распознано, заболевание желудка излечено, а с сердцем могут и

из больницы забрать. Нет, болезнь не спасение... Самому идти в грозное учреждение с жалобой? Но там или скажут, что безвинному человеку тревожиться нечего, или же, раз он пришел, то оставят. Нет, апеллировать к ним на них же нелепо. Нелепы вообще все мысли сокрыться или управу найти... Остается один только способ спасения — замешаться в толпе где не будут искать, где все уж разысканы. Остается одно лишь прибежище, где можно сберечься,— тюрьма!

Но как спрятать в ней инженера?

В арбитраже должен был слушаться спор управления стройки с кирпичным заводом. Первое не хотело оплачивать брак, а второй утверждал, что кирпич бьется при выгрузке самими строителями да еще воруетя ими и продается на сторону. Ты поспешил разобрать этот спор, решил его в пользу завода, подтвердил, что кирпич был на стройке расхищен, и передал дело судебному следователю. Тот сейчас же добился от молодого инженера признания в грубой халатности — не следил за сохранностью и за расходом. Судья столь же быстро приговорил его к трем годам заключения и позаботился о быстрой отправке на Север.

Участники встречи в Листвянке не изменили ей...

Если бы кто-нибудь вздумал проверить это уголовное дело, было бы плохо. Ведь инженер ни от кого не принимал кирпича, не расписывался ни в каких документах, на нем не лежало учета... Но ты неповинен, что в арбитраже не было спора, который имел бы к нему более прямое касательство. Ты сделал из наличного материала что мог. Сделал, правильно исходя из того, что осуждение оставалось тогда для судей безнаказанным, что отвечали они только за мягкотелость — самое употребительное словечко в тогдашней юстиции, которое все избегали услышать примененным к себе... Да и как могло дойти это дело до проверки в каких-либо вышестоящих судах, если осужденный не жаловался...

Инженер возвратился через четырнадцать месяцев, когда участники встречи в Листвянке сумели дать знать областному суду о незаконном приговоре народного. Он возвратился, справедливо считая, что пожизненно обязан тебе.

Да, это был подвиг. Спасая другого, да еще с помощью сговора, ты сам вступал в преддверие ада и хорошо понимал это. Честь и хвала тебе и друзьям твоим за этот поступок, доказывающий, что и тогда были люди, чье сердце оказывалось сильнее головы, ставившие ее, если надо, на карту...

Но есть у меня и другое свидетельство. Увы, оно расходится с первым... Ты уже был в это время заместителем председателя городского совета, и мне встретила в центральной газете статья твоя о налаживании городского хозяйства. Речь шла о школах, больницах, о жилье, об автобусах, электростанции, прачечных. Но я не узнал знакомого автора. Это писал кто-то другой, начинавший и кончавший статью утверждением, будто недостаток жилья, транспорта, света, воды, всех средств жизни вообще — плод козней врагов. Из-за их коварства происходят давки в автобусах, слаб накал в лампочках, трудно белье постирать... И ты призывал разоблачать злоумышленников, пролезших в городское хозяйство.

Верил ли ты в то, что писал? Нет, ни минуты не верил. Ты знал, что городские автобусы — это не боевые машины и не занимают внимания иностранных штабов. Знал, что строительство прачечной затягивается не потому, что в партии действуют империалистские наймиты. Ты просто отдавал неизбежную дань фразеологии дня.

Но эта уступка не была безопасна. Пусть кто-то и чуял, что ты вовсе не думаешь уверить людей в своих уверениях, что они оборот речи, и только. Но другие, ошеломляемые изо дня в день потоком подобных статей, продолжали после твоей еще пристальней всматриваться во всех окружающих, гадая, кто из них недруг, а отчаявшись в собственном зрении, решали, что

мир нераспознаваем вообще, что явь и видения в нем перепутаны, что история — фантазмагория и единственные ценности жизни — личные, собственные... Значит, ты своею статейкой помогал разыгрывать грандиозную злую мистерию, взял роль на театре, убивавшем дух человеческий. И что мне за дело, что ты этого совсем не хотел, что душа твоя ныла протестовала! Театр-то ведь был, грим на себя ты накладывал, на подмостки выходил, как и все...

Горячий рассказ инженера свидетельствует, что ты оставался верен Листвянке. А желтый газетный комплект тихо-тихо подсказывает, что никому не дано было себя сохранить, оставить свою природу непопранной.

«Воистину, — говорил Достоевский, — всякий перед всеми и за все виноват».

Глава 4. Битва с торжествующей тупостью

Высказал сейчас свою горечь, свои упреки тебе, а теперь вдруг засомневался. Справедливы ли они, надо ли было упоминать о статье? И если даже она была не единственной, если ты и речи такие держал, то можно ли видеть в этом уход от себя? Ведь ты прибегал к обязательному словарю того времени, пользовался им, как и все. Вот сейчас, например, общепринята легкая мебель из поролона и полированных досочек, она повсеместна, другой нет в продаже, и невозможно определить по ней вкус человека, обставившего ею квартиру. Так и с языком злосчастной години, совсем, вероятно, не характеризовавшим тебя.

Ты знал, что нечистой силы не водится, а призывал истреблять ее. Да, это было... Но разве ты всегда воевал только с безоружными духами? Нет, вовсе нет! Одной из этих войн, отнявшей у тебя несколько лет, я и уделю теперь главу, из которой увидишь, что хорошего о тебе я не собираюсь оставить несказанным.

Твоим начальником и руководителем города был Степан Платонович Гулый — высокий, полный мужчина на пятом десятке. Добродушен он был не только по виду, но и с людьми, не доставлявшими ему серьезных хлопот.

— Палисадника, говоришь, не разрешают тебе? — переспрашивал он посетительницу, не беря даже в руки протягиваемую ею бумагу. — Нельзя в центре города? Гм... А ведь, кажется, и правда, нельзя... Ну, а что ты посадить собираешься? Облепиху? Хороша, хороша у вас здесь эта ягода. Не кисель, а сплошной, можно сказать, аромат. Но для палисадника, Мать, надо подсолнухов. Чтобы вид был и вообще... Ну, что ж с тобой делать? Плетень уже, говоришь, возвела? Да, выдергивать теперь, конечно, обидно... Ну, ладно, мать, так и быть... Пойдешь до милиции, скажешь там, что Степан Платонович просил око прикрыть... Ну, чего ты, чего ты?.. Не такой твой вопрос, чтобы обещать за меня столько поклонов Христу. Я ведь не пожарный, не доктор, ни от чего тебя не спасал.

А, между прочим, известно тебе, что Христос-то твой был из евреев? Я в прошлом году случаем услышал такое. Оказалось, что факт... Ну, счастливо тебе, мать, счастливо! И не надо было к грамотеям ходить заявление писать. Я ведь на службе у жителей, и, значит, ко мне можно запросто. Так бабам и говори...

Но когда в просьбе посетителя приходилось отказывать, Степан Платонович делал это уже от лица какого-то незримого большого начальства.

— Бился, бился я за тебя, — сокрушенно говорил он старику, просившемуся в дом престарелых, — и ничего не добился... Да, есть там два места, это ты прав, но они, говорят мне, резерв. Кто его знает, для кого они держат? Может, для ветеранов гражданской, а может, для тех, за кого повыше попросят. Разве скажут они?.. Я, брат, сам за тебя так расстроился, что и борщ

эти дни мне не борщ...

Зато в делах, которыми впрямь интересовалось начальство, добродушие Степана Платоновича сменялось готовностью к поступкам, крайне недобрым. Он забывал тогда даже и о нуждах, и о правах человеческих.

— За жабры надо их, недоимщиков, за хвост и за нос! — возбужденно говорил он тебе и начинал тут же придумывать способы возможных внушений: — Слушай, а что если вызвать их, бисовых деток, и намекнуть, что это, мол, пахнет политикой?.. Или сказать, что пошлем эти списочки в амбулатории и там не станут лечить. Пригрозить, что на «Красных дьяволятах», «Тарзанах» зачитывать будем. Раз они не выполняют перед государством обязанностей, то и оно...

— Невозможно, — перебивал ты. — Нет у нас права.

— Ну, а если на другой манер припугнуть? Выключить у них на недельку электричество, воду? А где привозят ее — запретить.

— Тоже нельзя, — бросал ты со скучающим видом и покидал кабинет, оставляя Степана Платоновича наедине с его финансовым гением.

Но через десять минут он посылал за тобой:

— У тебя, законник, и того нельзя, и другого нельзя. Ну, а торговлю мы вправе развить? Это нам по Конституции можно? А у нас в этой части еще скрытых резервов полно. Я вот на днях проезжал мимо кладбища. Как раз родительская суббота была. Народищу тьма, а холод собачий. Для малахаев будто бы рано, а в кепочках спасу нет. И нечем, между прочим, согреться... А открыли бы мы там ларек — и план подскочил бы и люди не мерзли.

— На кладбище?!

— А что ж тут такого?.. Мы, мол, верующим навстречу

пошли, уважили их предрассудки, позволили за упокой...

— Верующие сочтут, наоборот, осквернением места,

— А осквернять не дадим. Милиционера поставим.

— Все равно найдут возмутительным.

— А финплан горит — это не возмутительно? С тобой не сядь и не ляжь. Ларьки тебя не устраивают, так выдвигай свои предложения. Почему я один должен ломать себе голову, а ты, чистоплюй, только критику будешь на все наводить?! Скажи свои меры. Может, заведующего финотделом сменить? Найти половчей, башковитей... Ну, скажи же ты что-нибудь! Вот запрещаю тебе всем другим заниматься, запрись сейчас и чтоб к вечеру неиспользованные резервы нашел!

Степан Платонович справедливо считал, что ты, молодой заместитель, должен быть мозговым штабом при нем. На то ты был с дипломом, на то он и взял тебя, на то дал квартиру... Ты колебался занять ее, а он сказал «Не дури» и послал Оле полуторки с грузчиками... Домашнего знакомства у вас не сложилось, вы были для этого слишком различными, в работе тоже подчас не сталкивались и предпочли разделить между собой сферы деятельности, но было у вас молчаливо условлено, что все, связанное с головными усилиями, ты должен брать на себя... Он представлял, принимал утрами директора единственной местной гостиницы (все другие стали жилищами инженеров, понаехавших в город), сам определяя, кому из приезжих какой номер дать, объезжал участки строительства, мало интересуясь заводами (они министерские!) и торопя с возведением жилых корпусов, в которых горсовет получал свою долю, подписывал один за другим ордера на вырубку леса вокруг городской полосы («У степу тоже живут, не вмирають») и, как сам признавал, вытаскивал носовой платок, когда в областном центре чихали. Говорил он об этом посмеиваясь, но действовал

для исполнения всяких решений нешуточно. Телеграмм и звонков, вносивших постоянные хлопоты в жизнь, он терпеть не мог, но как только область чего-нибудь требовала, лишался покоя и отнимал его у всех подчиненных. В таких случаях он посылал одного своего заместителя торопить исполнителей, потом второго, чтобы поторапливал первого, и, наконец, тебя, чтобы торопил их обоих...

Ты к этому человеку теплых чувств не испытывал, а население хотя и посмеивалось над ним, но скорей благодушно, чем зло. Людям нравились его простота и доступность, его сугубо житейский язык, нравилось, что держался он с каждым, как с ровней. На собраниях, где он выступал, было всегда оживленно и ему от души много хлопали. Начинал он обычно с чтения написанного тобою доклада, но оно туго давалось ему, он запинаясь на многосложных словах, нахмурился, потом сердито отбрасывал текст и объявлял, что будет лучше отвечать на вопросы. И вот тут разворачивался... Обнаруживал кучу разных житейских познаний и говорил такое, что нигде не услышишь.

Люди спрашивали, какой район города будет застраиваться, и требовали отводить жилые массивы подальше от задымленных мест. Он отвечал, что сделает пробы—развесит в разных местах бараньи шкуры, и, где они позже загниют, там, значит, воздух здоровее, там жить... Его упрекали в том, что стахановцам, передовикам производства, создаются возможности повышенной выработки, которых нет у других рабочих городских предприятий. Он отвечал, что корове, привносящей пять тысяч литров, тоже дают лучший корм, что так поступает каждый хороший хозяин, хотя другие коровы тоже видят в этом, наверное, несправедливость. Авторам записок, возмущавшимся вырубкой сада, на месте которого строился завод горных машин, советовал прятаться от летнего солнца в шерстяную одежду и класть на ноги пуховые подушки. На вопрос, почему

горожанам не достаются путевки в Усолье, которым теперь распоряжается область, отвечал, что ревматизм можно и без курортов лечить. Надо делать для этого ванночки из молодых березовых листьев. «Це средство еще моя бабушка знала. Спробуйте и спасибочко скажете».

Все видели, что он уходит от вопросов, от критики, лукавит хитрит, но зато собрания проходили шумно и весело, председатель был в доску своим...

Степан Платонович справедливо говаривал, что не любят его лишь книгочеи, всякие умники с высшим, которых, кстати, он не любил, в свою очередь. Но не переоценивали его милых черт и сотрудники самого горсовета, знавшие чересчур уже близко... Тебе приходилось забегать к нему по срочным вопросам домой, и ты видел там рушники с вышитыми гладью портретами главы государства. Литографированными они висели тогда во всех учреждениях и во многих домах, но на полотенцах, покрестьянски красовавшихся в красном углу, ты их увидел впервые. И впервые тебе пришлось видеть начальника, который, столь почитая главу государства, не умел пересказывать его статей и речей в самых простейших докладах и уклонялся от них... Сбегал Степан Платонович и от других заковырок. Как только требовалось по мудреным делам его слово, за которое можно было попасть потом в каверзу, он скрывался куда-нибудь. Ездил в таких случаях, не оставляя записок, по пригородам и деревням. Старался при этом и машины угнать, на которых его могли бы разыскивать, и однажды, хохоча, признался тебе, что поступает, как предусмотрительный жулик, уносящий с собою всю обувь, чтобы людям не в чем было бежать за ним.

Эти веселые приступы его откровенности ты переносил так же плохо, как и случавшиеся с ним иногда припадки сугубой решительности. В одной заводской столовой ему пожаловались однажды на холостежь, уносившую с собою ножи и чайные ложечки. Степан Платонович сейчас же распорядился тогда

приковать ножики во всех рабочих столовых цепью к столам, а ложки так продырявить, чтобы ими можно было лишь размешивать сахар, а не взять что-нибудь в рот. Кое-где в городе остались, возможно, еще и сегодня следы этой губернаторской выдумки, долго вызывавшей у посетителей и хохот и гнев... Когда оказалось, что город занимает в области первое место по числу хулиганств, председатель запретил здесь, словно в павловском Питере, хождение в ночные часы, и лишь испуг прокурора, повергшего и председателя в страх, заставил потом поспешно срывать расклеенное на заборах и стенах постановление городского Совета.

Ты и нужен был ему, и тяготил его... Первая серьезная ссора произошла между вами, когда ты случайно услышал, как он ругался с молодыми строителями. Тех заставили в выходной день возить деревья из леса, а потом не заплатили им, сказав, что то был воскресник. Ход этот придуман был Степаном Платоновичем, когда оказалось, что превышена смета... Парни пришли к нему с жалобой, а он стал угрожать им:

— Тебе сколько лет? Уже двадцать? А тебе? Двадцать два? Ну, а тебя-то,— обратился он к третьему,— и спрашивать нечего, ты уж, наверное, со второй жинкой живешь. Значит, возраст у всех давно призывной, все вы военнообязанные. А в армии коллективные жалобы воспрещены. В армии за такие дела под трибунал отдают. И если вы мутите народ, я скажу военкому, чтобы он взял ваши учетные карточки и...

Парни не оробели. Стали кричать, что они не военные, — один отслужил, у другого отсрочка, третьему еще только осенью, и нечего запугивать их. «Не мы народ мутим, а вы воду мутите», — услышал председатель. Он вспылil, стал тогда называть их рвачами, кулацким отродьем, понаехавшим неизвестно откуда, хулиганами, от которых ночами проходу нет...

Поднялся скандал. Ты вошел и стал слушать его. Председатель старался вовлечь тебя в эту ругань и, кипяťясь,

обращался к тебе за поддержкой, но ты упорно молчал, а потом пообещал строителям выяснить, на каких началах работы велись, и, если не объявлялся воскресник, предоставить отгул.

Парни ушли, и председатель перенес гнев на тебя:

— Авторитет мой срываешь? Это ж предательство! Это ж иудство! С бандитами против начальника! А если бы они мне чернильницей в голову, ты тоже молчал бы?! Если избили бы, ты тоже обещал бы, что выяснишь, на каких началах лупили?!

— Вы вели себя недостойно, шантажировали их, придумывали черт знает что, и я не мог поддержать вас, — сказал ты и вышел.

Назавтра он, опомнившись, сам пришел к тебе в кабинет:

— Я попылил вчера. Накричал, может, лишнее... Но давай договоримся на будущее... Если нам вместе работать, — у нас всегда единый фронт должен быть.

— Единый фронт против кого?—спросил ты. — Против области, населения, посетителей, да?

Он смешался.

— Против врагов... Крикунов... Но если так ставишь вопрос, то...да, против всех. Если председатель станет одно говорить, а заместитель другое, то будет у нас не горсовет, а цирк с ярмонкой. Вот приходит от тебя посетитель ко мне — разве я что-нибудь перерешаю?.. Меж собой мы можем и спорить и цапаться, но на людях я тебе воспрещаю перечить.

И когда на меня наседают, ты обязан вступаться. Должен закон подыскать, фразу вождя, соображения науки и прочее. Партия требует единодушия, понятно тебе?! А всякие там мненья, сомненья, мыслишки свои — их можешь жинке выкладывать... Запомни это раз навсегда. И не думай, что если я добрый, то можешь здесь комсомол разводить.

Единодушия Степан Платонович требовал и от всех

депутатов городского Совета.

— Ты чего собираешься о домах говорить? — подозрительно спрашивал он перед сессией. — С непрсохшей штукатуркой сданы? Половицы в них прыгают? Хочешь, чтобы вместе с ними на радостях и враги Советской власти попрыгали? Материальчик им поставить готовишься? Снабдить, так сказать? Об этом ты пораскинул мозгами? А почему, объясни мне, оратор, ты своевременно ко мне не пришел, не попросил тебе выделить плотников, маляров и так далее? Ведь ты депутат! Значит, не с трибуны болтай, а возглавь, организуй и наладь! А речами ты кого организуешь теперь? Сам знаешь, кто такие речи подхватывает.

— Ты, наверное, уже целую тетрадь накатал? — любопытствовал он у другого из возможных ораторов. — А почему бы тебе не принести ее нам, не показать предварительно? Посоветовались бы, обсудили, как лучше... Я вот, например, свой доклад даже машинистке даю с таким требованием, чтобы не просто отстукала, а подметила где что неладно. Ведь это не на вареники народ соберется и не на пионерский костер. Из газеты, из области будут... И тут никому нельзя с бухты-барахты... Любое серьезное дело надо готовить. Чтобы не ляпать, чтобы не вышло анархии... И вообще в нынешних международных условиях нужны согласованность, дисциплина, единство. Ты только выгадаешь, если представишь нам. Не придется потом пальцы кусать.

Сам склонный к шутке, Степан Платонович опасался ее у других, опасался всякого своеволия мыслей, уязвлялся любым нареканием на свой недогляд или промах, затаивал тайную обиду на всякого, кто решался о них говорить, и поэтому скука на пленумах городского Совета искупалась только их скоротечностью. Единодушие, которого он достигал на них, было, с одной стороны, плодом домоганий и бескультурия, с другой — равнодушия, а потому и сговорчивости. Интересы

депутатов к жизни города гасли. Но тебе впрямь оставалось жаловаться на это только жене.

Может быть, она, эта женщина, безучастная к местным делам, и подвигнула тебя на решительный шаг? Ведь именно по ее настоянию ты не ушел из городского Совета и расстался потом со Степаном Платоновичем для обоих вас памятно...

После того как ты занял видное положение в городе, Оля немножко примирилась с судьбой. Но с ее молодостью и отчужденною вежливостью не могла примириться увядавшая, рыхлая женщина... К холоду твоих отношений с начальником прибавлялась неприязнь между женами. Точнее, Оля не замечала существования Евдокии Тарасовны, а ту это изводило, бесило.

Жена председателя была отнюдь не плохим человеком. Дородством она выглядела мужу под стать, превосходила его хлебосольством, общительностью, обладала большим и приятнейшим голосом, чудесно пела украинские песни и от души хлопотала, когда кому-нибудь требовались больница, закройщик или билеты на московских эстрадников. Но когда ты сказал, что в ней пропал незаурядный вокальный талант, Оля сначала ответила: «И хорошо, что пропал», а потом исправилась: «Талант не пропал бы». Основания для этой сухости были — по наущению Евдокии Тарасовны у Оли происходили одна за другой неприятности. Сначала заломила с нее несусветную цену портниха, у которой они обе шили. Потом до Оли дошло, что о ней распространяются слухи, будто у нее нет груди и она носит набюстники. Передавалось это якобы со слов массажистки. Но у Оли в массаже не было надобности, и та посещала только Евдокию Тарасовну... Затем Оле пришлось услышать, будто отец ее был деникинцем, дед — в холуях при царе. И, наконец, Степан Платонович, который никогда не интересовался законами, однажды, отведя глаза в сторону, сказал тебе, что жене нельзя служить в учреждении, где муж занимает начальственный пост. И хотя Оля не числилась в штате, получала почасовую оплату,

стенографировала еще при предшественнике Степана Платоновича и до того, как ты сам пришел в горсовет, ее лишили вдруг заработка.

Стареющая женщина завидовала твоей жене, травила ее. И ты решил сказать это мужу. Повести с ним мужской разговор.

— Да, — согласился Степан Платонович вяло, — мозолит молодая глаза. Да еще больно гордая... Не любят наши бабы друг дружку.—

И сделал неожиданный вывод: — Может, хочешь уйти? Я не буду препятствовать...

Ты был поражен, потрясен.

— Так как моя жена неужодна вашей жене, то должен и я уйти?!

— А сами мы разве угодны друг дружке? — возразил он резонно.— Столько времени вместе, а нет между нами тепла... Хочешь наробразом заведовать? Бабу оттуда можно в учительницы. Директором показательной школы назначим ее... Или сам, может быть, займешься наукой? Факультетов, слава богу, достаточно. Можно похлопотать, чтоб деканом...

— От тебя ли слышу?—возмутилась вечером Оля. — И ты еще над этим задумываешься?! Уступить произволу?! Самодурству какой-то неграмотной бабы?! Почему, когда дело идет о других, ты действуешь, негодуешь, кипишь, а с собой даешь обращаться, как с мальчиком? Где же твоя принципиальность, где твой характер? Где горкомы, обкомы и прочее?! Почему не пойдешь, не расскажешь? Почему не потребуешь, чтобы этому был положен конец? Или тебе наплевать на жену?! Хочешь, чтобы над ней взяла верх помпадурша? Но тебя и самого выгоняют! Просто в лицо плюют! И ты это стерпишь?!

Оля так задета была за живое, что ты не узнавал своей флегматичной жены. И хотя с жалобой никуда не пошел, из

горсовета уйти не спешил. Это начало раздражать Степана Платоновича, и он перешел к открытой вражде.

Настал унижительный, глупый, до боли обидный период... Ты давал разрешение на расклейку афиши, председатель отменял разрешение. Ты запрещал устанавливать плату за вход в городские сады, председатель велел не впускать без билетов. Ты позволял собору праздничный благовест, председатель угрожал ему за это закрытием. Ты не видел беды в ранней торговле на рынке, председатель приказал штрафовать все подводы, которые прибудут до времени. Тебе надо было ехать на стройку, председатель решал, что без тебя обойдется. Тебе нужно было оставаться на месте, он усылал тебя... Начав действовать наперекор, беспринципно, назло, Степан Платонович так закусил удила, что шел и против здравого смысла, и против собственных мнений, если они совпадали с твоими. У тебя рвались нервы, но теперь невозможно было бежать с поля сражения.

Ты пытался говорить с высокими лицами. Они пожимали плечами, отвечали, что никто не без слабостей, что Степана Платоновича любит народ. Ты понимал, что он нужнее, удобней, чем ты, — никогда не перечил...

И вот разыгрался последний акт изнурительной, совсем незабавной борьбы...

На далекой улице города жил старик, потерявший ногу в войне с монголо-немецким бароном Унгерном. Инвалид этот давно освоил протез и ковылял не только по улицам, а и за кедровым орехом, рябчиком, зайцем. У него были колотушки, силки, дробовик и собака. Хоть и старая, она делала еще много работ: отыскивала запорошенный след, волочила возок со сбитыми шишками, стерегла хибарку и сушившиеся во двореке шкурки, ходила с подвязанной за шею корзиночкой в лавку за хлебом, а главное, разделяла с хозяином его одиночество... Эту собаку, совмещавшую в себе способности разных пород, знал на

окраине каждый, и даже мальчишки перестали дивиться тому, как спокойно позволяла она продавцу брать монетки и терпеливо дожидалась буханки. И люди вознегодовали, узнав, что какой-то парень прострелил этому замечательному животному ноги. Сделал он это в отместку за то, что старик отказался одолжить ему дробовик...

Инвалидом овладело настоящее горе. Он пошел в милицию, в суд. Не с тем, чтобы искать возмещения, а за воздаянием злу. Но он не знал, что его бессердечный противник окажется племянником деятеля, который позвонит из областного центра городскому начальству и попросит это пустяковое дело уладить. А Степан Платонович, вызвав судью, не знал, что оно уже накануне рассмотрено и парень приговорен к трем месяцам принудительных...

— Перереш! — потребовал он. — Разорви этот листик и другой напиши.

— Но я ж огласил! — пытался судья возражать.

— Чушь огласил! Надо было все полюбовно. Присудить, скажем, столько-то рублей на лечение.

— Старик не денег просил. Он плакал в суде.

— И ты, значит, тоже расплакался?! А еще судья называешься. Ну, в общем, надо исправить... И быстренько!

— Но поймите, я не могу... Есть городской, пусть отменит...

Степан Платонович стал звонить в городской, а судья зашел после этого разговора к тебе. Зашел и раскаялся — ты снова поволок его к председателю и заставил слушать совсем иной разговор.

— Какое вы право имели судью вызывать к себе? — резко говорил ты ему. — Он такой же избраннык народа, как вы, и не подчиняется вам. Как осмелились требовать порвать приговор,

вынесенный от лица государства! Вы идете на беззакония, которым имени нет. Ваш разговор с судьей — уголовщина. Я буду сейчас акт составлять...

Лицо Степана Платоновича приняло кумачовый оттенок. «Уйди!» — сказал он судье и, плохо справляясь с волнением, заговорил отрывисто, медленно, четко, решительно:

— Я тоже кое-что составлю сейчас. Но в другой адрес. И это не будет подлостью с моей стороны... Когда пишешь на другого не с тем, чтоб сгубить его, а чтобы он сам не сгубил тебя, — это и на том свете простится. Интересно, чье раньше дойдет... И еще интересно, как взглянут: тот вредней, кто собаку калечит, или кто государству мешает...

Впоследствии ты узнал, что содержалось в бумаге, над которой Степан Платонович, не выходя на работу, пыхтел дома целые сутки. Ты изображался в ней покровителем попов, рвачей, хулиганов и всех антигосударственных элементов вообще. Рассказывалось, как ты помог в прописке какому-то дворнику, сбежавшему, наверное, от раскулачивания. Как вредил финансам страны, отказавшись заняться ловлей холодных сапожников, работавших по дворам и подъездам и не плативших налога. Как не согласился отвести под автобусный парк территорию кладбища, на котором «каждый день сеется религиозный дурман». Как передал этот вопрос секции городского Совета, сказав: «И без того все дела захвачены ведомствами, надо и людям дать что-то решать». Как отгораживаешься от сослуживцев, водишь компанию только с друзьями жены, которую не устраивают советские книжки и берущую в университетской библиотеке французские. ..

В этой длинной, потешной, злобной и сумбурной бумаге Степан Платонович выплеснул все, что подсказали ему память и месть. Но как ни спешил он подать ее, а опоздал на два года. В тридцать девятом кошка уже была так насыщена, что могла позволить себе не пожрать мышонка, а позабавиться с ним. В

течение нескольких месяцев тебя много раз вызывали, показывали по несколько строчек бумаги, просили давать на них объяснения, извинялись за причиненное тебе беспокойство и затем беспокоили снова... Один раз ты объяснял, что для поимки холодных сапожников у финотдела не хватает ловцов. Во время второй встречи оперировал справками о том, что жена не жила во Франции. При третьем визите доказывал, что автобусы можно размещать без того, чтобы лишать места покойников. Все это было для кого-то потехой, для тебя — трепкой нервов.

Столько же извел ты их в попытке нокаута...

Большую, неслыханно резкую и насыщенную фактами речь перед синклитом, судившим твою борьбу со Степаном Платоновичем, ты начал с рассказа об одном из царей. Прочитав написанный с ошибками рапорт дежурного о ночном происшествии в казарме полка, царь этот велел посадить преподавателей кадетского корпуса, учивших этого человека словесности и выпустивших его в офицеры... «И мы здесь,— сказал ты,— также должны бы ответить за то, что университетский город возглавляет неграмотный... И не только неграмотный. Дела двухсот тысяч жителей решает то благодущный, то самодурствующий, то безучастный, то деспотичный, то суетливый, то бегущий от дел человек. Для людей он и браток, и творящий что хочет сановник. И лекарь, советующий с официальной трибуны пить от слабости ног парное молоко вместо чая, и шинкарь, готовый весь город спoitь... Неуклюже, неловко, вызывая стыд за него, прикладывается он, словно ко кресту архиерея, к ордену Ленина на генеральской груди, а без людей, когда он дома один, никогда не раскроет томака Ленина. Водружает венок перед обелиском павшим героям гражданской войны и отказывает живому герою в крове на старости лет. Не может, не должен, — сказал ты,— человек без идеи в душе, руководящийся только

идейками сугубо житейскими, занимать место, на котором надо бы видеть средоточие чистоты ума, дарований...»

Твои слушатели непривычны были к тому, чтобы при обсуждении «персональных вопросов» так портретировали, упоминали царей, рассуждали о нужных носителях власти достоинствах, уходили в рисунок, в психологический очерк... После твоей речи воцарилась неловкость. Из нее вышли, занявшись конкретностями — хлопотами Степана Платоновича в собачьей истории. Их нельзя было не признать неуместными. И ушел Степан Платонович с ринга не нокаутированный, но сильно пошатываясь...

И тебя тоже мутило. Не оттого, что пришлось сменить учреждение, а от боли за себя, за два потерянных года, ушедших на нелепую, никчемную, жалкую, изводящую душу борьбу. Чем занят ты был, на что тратил себя — молодой, много учившийся, полный сил человек? Ты чаял отдавать эти силы большим, умным и добрым делам, чаял отдавать их на устройство жизни людей, занятых подлинным и нужным трудом, а ушли они на одного человека — нетрудового, ненужного... Человек этот должен бы стать лишь забавным персонажем какой-нибудь веселой истории, промелькнувшей и тут же забытой, а сделался он важным фактом твоей биографии, одним из сонма тех духов, что непроследимы в анамнезах, но стоят у истоков сердечных болезней... В годы студенчества, до того как он встретился тебе, этот дух, ты был крепко уверен в своих делах, в своем будущем, "верен, что от умного, честного человека самого все в жизни зависит. Теперь ты узнал, как от глупых сам умный зависит. И, встречаясь потом с пожилыми людьми, страдавшими от ревматизма, стенокардии, почечных камней или больной печени и говорившими тебе: «Вы молодой, вы этого еще, слава богу, не знаете», ты еще долго, до самой войны, мысленно отвечал им: «Нет, знаю. Знаю председателя городского Совета. Он — мои камни, мой ревматизм, моя желчь,

моя печень»... И человек этот не уходил от тебя, продолжал неотвязно на память наворачиваться, присутствовать при всех твоих столкновениях со всякими скверностями. Всюду виделись тебе его черты, его след. Не по злопамятству это, а потому, очевидно, что нельзя забыть первую девушку, первые часы на руке и первое чувство бессилия перед воинствующей торжествующей тупостью...

Степана Платоновича ты впоследствии мельком повстречал на дорогах войны. Он оказался в управлении тыла одного из фронтов. «Еще туда-сюда, — подумалось тебе, — если ведает он только шинелями, а ну, как снарядами?» Но фронт наступал, и, значит, присутствие этого деятеля не могло что-нибудь заметно напортить...

Глава 5. Малодушные или торжество доброты?

В учетной карточке ты числился военным юристом. Но правильно сделал, отклонив назначение во фронтовой трибунал и попросясь просто в пехоту, где стал помощником начальника штаба полка по разведке. Из-за того ли поручили тебе это дело, что ты понимал речь противника? Потому ли, что, зная тайгу, мог пробираться и в смоленских лесах? Или просто оттого, что был старше досрочно выпущенных питомцев военных училищ? Во всяком случае, ты оказался на месте, а случай, который произошел тут с тобой, стал свидетельством, что для фронтового суда не годился бы...

Услышал я об этой необыкновенной истории лет через десять после войны, когда мы сидели в твоей московской квартире и туда приехал прямо с вокзала пожилой, плотный, загорелый мужчина в грубоватом суконном костюме и с Звездой Героя Труда на груди. Сразу видно было, что он от земли, живет в сытном месте, домовит, деловит, не речист, в столицах редко бывает, но достаточно степенен и денежен, чтобы не потеряться в их суете. Он казался чуточку неуклюже-громоздким среди горок с саксонским фарфором, немножко чересчур натуральным рядом

с висевшим на стенке крестьянином других широт и долгот, но его неожиданный приезд не смутил тебя, ты даже заулыбался ему. Рад был, наверное, случаю что-то услышать о сегодняшнем селе, о крестьянстве, с которым давно-давно не общался... Раздосадовали тебя лишь гостинцы, привезенные гостем в непомерном количестве: целый окорок, банка меда, бочонок вина... Они были неадекватны беспокойству, которое причинял он хозяевам в те несколько дней, что собирался пробыть. Человек привез просто подарки. «Вы опять то же самое, — сказал ты ему раздраженно. — Опять, как в позапрошлом году... Ну, что с вами делать, не знаю... Теперь будем бегать по магазинам, искать, чем отдаривать».

А потом я узнал, откуда это знакомство с бригадиром из кубанской станицы...

Лето сорок второго, когда полк твой лежал в обороне под Гжатском, было мокрым и мерзким. Дожди размывали траншеи и пробивались через накаты землянок. Шинели промокали насквозь, штаны разбухали, сапоги тяжелели от грязи, а волглое белье прилипало, будто сразу после стирки надетое. Казалось, что солнце вообще покинуло землю и никогда уже на нее не вернется.

На позициях было утомительно тихо. Щелкали только одиночные выстрелы, слышались время от времени короткие пулеметные очереди, да свистели вечерами ровно полчаса мины, которыми отмечали свой приход на позиции ночные смены противника. И наши и немцы не позволяли видеть себя, на передовой не проглядывалось никакого движения. Солдаты обеих сторон вяло постреливали не столько по высмотренным, сколько по измышленным мишеням, и никто, кроме самых зорких из снайперов, не мог сказать о себе, попал ли в кого-нибудь... Отсидев в траншейной воде свою смену, люди возвращались в землянки, чтобы разогнуть занемевшие спины и развесить вокруг печурки портянки.

Грызла тоска. И не оттого лишь, что в небе не виделось никакого просвета, а от беспросветности самого хода войны... Немцы взяли Воронеж, Ростов, шли к югу, шли к Волге, шли по всем направлениям, и ты чувствовал, как теряется вера в возможность остановить их поток. Сводки с фронтов разъедали души людей, они боялись их слышать...

Ты жил не в штабной землянке, а со своими разведчиками и знал, о чем они говорили, о чем говорить избегали. Говорили о поваре, обеде, старшине, о березовой коре на растопку, о негорящей осине, о кирзе, о ДТТ, о зажигалках, кремнях... Говорили совсем не о том, о чем думали, а когда это становилось невмоготу, затихали. После длительных пауз кто-нибудь произносил неизбежное «да-а», за которым следовал долгий, томительный вздох, и снова воцарялось молчание. «Да-а» означало, что ничего тут не выдумаешь... Все ненавидели это тупое, нелепое «да», и все-таки оно обязательно каждый раз вырывалось.

Иногда над передним краем показывались воздушные шарики. Их расстреливали, и они рассыпались листовками — множеством разноцветных бумажек, напоминавших конфетти. В листовках говорилось, что война немцами выиграна, что сопротивляться им бесполезно, что к ним перешли уже многие русские части и солдатам под Гжатском остается спастись тем же путем.

Люди читали и рвали листовки, не вдаваясь в их обсуждение. Что было тут обсуждать, когда противовесом им был только приказ стоять насмерть!.. Казалось, что этим приказом стратегия найдена, ибо если все вместе и каждый в отдельности будут насмерть стоять, то наводнение, разлившись по русской степи, поглотится ею, испарится на ней. Тебе стало легче от ясности и простоты этой формулы. Но прошел месяц после приказа, дожди продолжали безостановочно лить, пал Ворошиловград, немцы растеклись по Донбассу, листовки-

конфетти стали сыпаться уже каждый день, и над одной из них, игравшей кумачом, синькой и зеленью, задумался самый старей во взводе пеших разведчиков кряжистый усач Антон Растидуб.

— Хороша бумага, — сказал он. — Богато живут. И где такие краски берут, что от дождя не линяют...

Никогда в прежней жизни люди так не тяготели ко сну, как в эти сырые и серые дни. Кутались в затвердевший брезент плащ-палаток, пахнувших глиной и порошками, прижимались к соседям и старались уйти в миражи и небытие.

Но это разрешалось твоим людям не больше, чем другим пехотинцам. Разведчикам, получавшим ночные задания, давали на другой день отсыпаться, но все остальные помногу часов учились поиску, подслуху, лазанью, схваткам и, подобно солдатам прочих взводов, несли караульную службу, углубляли траншеи, выкачивали воду из них. Поэтому засыпали все намертво, при подъеме не сразу приходили в себя, но ты слышал их крики и стоны во сне. И до тебя доносилось, как Растидуб молил свою Катеньку, ругал свою Катьку, бил свою Катерину...

Это была оставленная дома жена. Ему перевалило за сорок, а ей было лишь двадцать пять, и в единственном полученном из станицы письме ему намекали, что она загуляла...

— При мне ей никого другого не требовалось, — рассказывал он, не умея удерживать в себе свое горе, — я ведь сам могу так, что святые угодники на стенке шатаются, ну, а без меня невтерпеж, значит, стало... Разлакомил я ее на свою голову, стерву, разлакомил...

Усача распирала неулегавшаяся ревность, он страдал от любви и от злобы к жене. Ее нужно было хлестать и стегать, поволочь за волосы по огороду, измордовать ей лицо, а он вместо этого должен был недвижно стоять часами в траншее и ползать на учебных занятиях.

Бессильный убить жену, Растидуб вдвухвал свою силу в огонь, не желавший заняться над мокрым валежником, и, стоя у печурки на корточках, метался душой.

Он клял себя за то, что, не предвидя войну, поехал за семенами люцерны в Московию, откуда не смог уже пробраться назад и попал воевать на Смоленщину.

Ненавидел Смоленщину, которую создал черт, а не бог.

— И как только люди тут жить могли, — рассуждал он о ней.— Одна картошка да ржевник. Недаром говорят, что только дураки с него кормятся... А у нас тыща видов продуктов. Вареньев-соленьев ешь не хочу. В лесах не осина, а груша, орехи, кизил. Фруктой кормим даже свиней. Свиньи на пятнадцать пудов. Сала в каждом доме на погребе столько, что опять же свиньям подбрасываем. А самый наш дом если взять, так он бы здесь считался дворец. Избы все пятистенные, простынного цвету, вокруг палисадники... По улице идешь — сердцу отрада, в дом заходишь — ризы серебряные, ковер на стене, хозяева уставляють настойки... А Смоленщина

эта — позор человеческий. Хаты все на боку да дрючками подперты. Хорошо, что пожег их немец к чертовой матери, землю освободил от дерьма... Ненавидел солдатскую пищу, а хлеб пуще всего:

— У нас булка белая-белая. Высокая, мягкая, с дырками. Откусишь — она под зубами вздыхает, проглотишь — сама в кишку соскользает.

Сыть от нее по всему нутру разливается, а остается оно свободное, легкое.

Вот у нас булка какая! А ржу вашу у нас никто и не сеет. Рази это человеческий хлеб? Утоленья на полчаса, а газу на целые сутки.

Негодовал и на армию, что отступала с Кубани, лишала вестей.

— Перестрелять бы их всех, сукиных сынов, паразитов! — говорил он о безыменных солдатах, не отстоявших беленьких домиков с их палисадниками и привычной, устоявшейся жизнью.

Всех своих дум он еще не выговаривал. Но из отрывочных фраз можно было угадать недосказанные.

«Зачем мне, Растидубу, — витало в его подсознании, — защищать здесь от немца чьи-то хибарки, когда его в это время пускают ко мне на станицу? Я предан, обманут... Зачем же буду в дерьме здесь лежать?! С какой это стати?.. Надо домой... При хозяине немец не тронет двора. Не тронет, во всяком случае, Катьку... Катьку, которая, того и гляди, будет лежать под ним, трепыхаться».

При этой мысли Растидубу не хватало дыхания, и он выбегал из землянки под дождь.

Но ты не заметил, как часто этот боец не справлялся с дыханием. Пропускал мимо ушей его фразы о сволочах и предателях. Не видел, что ему иногда хотелось завывать, хотелось мстить неизвестно кому за то несправедливое, страшное, что стряслось с ним и страной. Не придавал никакого значения его похвалам немецкой бумаге. Не обратил внимания даже на то, что он разглядывает по трофейной карте России, как выются дороги из Москвы на Кубань. Прочертил полосу на Брянск, спустил ее к Льгову и завернул дужкой вправо на Курск, откуда лежала прямая тесемка к Ростову.

Однажды ты его карандаш увидел, но подумал, что это он изучает путь почты с Кубани. И промолчал, зная, что ему уже не может быть писем...

В злобе Растидуба ты видел только злобу к врагу, не чуял, что он зол еще на своих и хочет уверить себя, будто не должен чувствовать себя перед ними обязанным больше, чем обязаны они перед ним.

Ничего этого ты не разглядел, ничего этого тебе не приходило и в голову. И когда пошел на подслух узнать, не прибыла ли новая немецкая часть, то взял с собою не кого-то другого, а именно этого казака, осмотрительного, немолодого, на котором никогда ничего не брэнчал. Во взводе были куда более храбрые люди, — например, бывшие штрафники, которым все нипочем, были московские школьники, ориентировавшиеся в маршруте, языке и приборах не хуже тебя, но ты взял Растидуба. Взял потому, что он не сорвиголова, а ударит—не встанешь...

Он двигался за тобой по пятам, и двигался совершенно недостойно разведчика: спотыкался о корневища и пни, ругался, издирая о сучья лицо, упал в муравьиную кучу. При этом ворчал, что ночью по лесу рыщут только сычи, и подозрительно спрашивал, хорошо ли ты знаешь, что до цели идешь. Ты назвал его бабой, но в душе был доволен им. Знал, что этот казак, когда его включали в группы захвата, был неловок в пути, но первым оглушал «языка» и тащил его на себе.

Вскоре вы вышли к поляне, по которой перебрались ползком, и на опушке занятого немцами леса Растидуб спросил, далеко ли до них. «Рядом», — ответил ты и почувствовал, как он задрожал. Ты подумал, что это от страха. Не знал, что в голове его пронеслась мысль о судьбе... «Так, — сказал он. — Ну, я ползун не гораздый. Дозволь, капитан, присядем чуток, передохнем»,

...Очнувшись, ты почувствовал дикую ломоту во всем теле и увидел себя стреноженным, словно коня. Только левая рука осталась нескрученной.

— Слушай, парень, — прерывающимся голосом сказал тебе Растидуб,—греха на душу брать не хочу... Я тут нож воткнул в пень. Посветлеет— увидишь. Докатишься, ремни порвешь и иди куда хочешь. Можешь на подслух, можешь назад... А у меня свои думы... И толкуй, как желаешь... Ну, будь живой...

Пошел нетвердой походкой, затем возвратился, скинул с себя автомат, сложил возле тебя четыре гранаты.

— Не понесу им...

Потом смутно видать было, как он снова остановился, встал на колени и делал рукой непонятное. Ты догадался...

«Господи, правилен ли мой путь?» — вероятно, спрашивал он, ожидая, что если неправилен, то над поляной и лесом разразится какое-нибудь подобие грома. Но тишина не нарушилась, и это его подбодрило, он отвесил богу поклон, стал объяснять ему что-то, оправдываться. Шептал, наверное, что его предали, разлучили с семьей, что идет не к врагу, а до жены и до дома...

Потом поднялся и потерялся в лесу.

Ты стал пытаться высвободить себя из ремней. Нашупал узел в ногах, но он был так затянут, что не смог в него пальца просунуть. Потом ощутил ком на спине и понял, что это еще один узел. Долго выворачивал руку, чтобы хоть сдвинуть его, но не сдвинул. Ты был связан захлест, ничего тут одной рукой сделать нельзя было, и при каждом движении кости ломались.

Тогда ты начал кататься, ища во мраке пень и нож. Нет, не кататься, а, опираясь на свободную руку, взбрасывать себя на два-три вершка. Но, промаявшись сколько-то времени, ты не дотянулся, а до какого-то гнилого торчка и раскровянил о него и без того занемевшую руку. Передохнул, стал снова взбарахтываться, снова драть руку о сучья и ушибать ее о торчки... Ты сизмала знал, что лес — это вовсе не травка-муравка, но только в эти часы ощутил, что стволы, сучья, прутья могут быть так люты, враждебны... Неранящими были только поганки, эти раздавленные тобой склизкие нежности, да мшистая, засыпанная мягкими иглами кочка, до которой ты, наконец, дотянулся. Она оказалась затем муравейником... Неизвестно, сколько часов ты вздымал, опускал себя, ворочался, полз, дрался

с путами, с мраком и плакал, сопел... Плакал от боли, страха, беспомощности.

Страх был основным ощущением, оставшимся в памяти. Он брал верх над болью, дал силы. А боялся ты всех и всего. Боялся шуршать, чтоб не услышали. Боялся далеко уползти и не найти потом ножика. Боялся хруста, за которым чудились звери. Боялся потери сознания.

И хотя этот страх придавал тебе мужества, кто знает, хватило ли бы тебе его до утра и что было бы дальше... Возможно, что с рассветом ты обнаружил бы нож, собрался с последними силами и перерезал ремни. А возможно, что на тебя набрел бы немецкий патруль. Или вообще никто не набрел бы... До самой весны, когда под растаявшим снегом был бы найден смерзшийся нераспознаваемый труп, но при нем никаких документов...

Все это было бы равно вероятно, не произойди в лесу в это время такого, что возможно лишь по заказу, в измышлениях, в сказке, в кино или по прямому начертанию бога, как навсегда уверился в том Растидуб. Здесь перебежчик натолкнулся на перебежчиков...

Он скованным замер на месте, когда, пройдя с километр, вдруг почувствовал — не увидел, не услышал, а почувствовал, — что в двух шагах от него, за деревьями, кто-то таится...

— Ихь эргебе михь, — вспомнил он из немецкой листовки. Никто не откликнулся.

— Ихь эргебе михь, — повторил он погромче, не решаясь услышать себя.

Люди продолжали молчать.

Он решил уже, что они ему просто почудились, как вдруг его ударили чем-то в живот, схватили одновременно за ноги, повалили и стали душить.

Но справиться с Растидубом было непросто. Нельзя сказать, чтобы у него была бычья шея, но сломать ему позвонки и руки с налету не мог бы никто. И все трое стали барахтаться с переменным успехом, стараясь сдавить противнику горло.

— А-а, сволочь!.. Проклятый! — задыхались враги.

— Немчура поганая! — хрипел Растидуб.

Но двое было на одного, и они бы его в конце концов задушили, не донесись до них голоса. По лесу шли несколько немецких солдат... Впоследствии Растидуб посчитал это тоже небесным перстом, и надо признать, что голоса эти вправду спасли его. Правда и то, что немцы не бродили обычно ночами по лесу, избегали его, патрули были редки, и этот случился удивительно кстати... Все трое притихли. Обе стороны ждали, что вскрикнет другая, и тогда наступит развязка. Но никто не позвал немцев на помощь... Все трое сжались...

Тогда эти люди оторвались друг от друга, подождали, пока шаги солдат отдалились, поднялись.

— Кто ты такой?

— Русский,—сказал Растидуб.

— Тоже... из плена?

Растидуб покачал головой.

— Значит... разведчик?

— Да вроде...

— Мать честная! А мы-то... Вот это да!

— Бандиты вы... Из лагеря, значит? :

— Из дома.

— И бежите?

— Потому что... надзирателем сделали... На работы сгонять. Со всей деревней поссорили... И его вот спасти, —

кивнул старший на младшего.— Сын это мой. Шестнадцать ему. Не сегодня-завтра угнали бы...

Растидуб тупо слушал.

— Уж коли пропадать, — добавил беглец, — так в шинелке. Со всеми.

Растидуба вдруг проняла убийственная простота этих слов. Пришла ясность. Единственная. Исключавшая прочие. Испарилось, сгинуло в нем наущение...

Ты в первый миг испугался, увидев его с незнакомцами. Подумал, что он возвратился убить. А он сказал с усмешкой, неискренне:

— Ну что, не помер со страху? Хорошо попужал тебя? Зато вот привел языков. Это почище, чем подслух.

Но, развязывая, устало добавил:

— Поступи со мной, как захочешь... Можешь прямо сейчас...

Но ты ни в эту минуту, ни после не поступил с ним никак. Твоего рапорта было бы совершенно достаточно, чтобы и без трибунала, без следствия... Ты рапорта не написал... Оттого ли, что омерзительно было при мысли о нагане, направленном в незащищенный затылок? Оттого ли, что, изучая когда-то законы, сам не дорос еще до законов войны? Или, наоборот, умел встать над ними, возвыситься? Трудно сказать... Но ты ничего не решил.

Трепетал ли он, ожидая судьбы своей? Да, вероятно. Но ни о чем не просил тебя. Скинул завшивленную рубаху, надел свежую, ждал. Ты избегал смотреть на него... Потом попросил командира полка перевести одного пожилого солдата из разведывательного взвода в стрелковый...

В начале сорок шестого ты шел по Берлину с женщиной, о которой пойдет речь впереди. Встретился с группой солдат,

гулявших по увольнительной в городе. Один из них был усатым, обвешенным целым десятком медалей. Вы сразу узнали друг друга... Он взволнованно попросил разрешения обратиться к тебе... Вы ходили по Пренцлауэр Берг, он рассказывал, как довоевывал, и прочувственно сказал твоей спутнице: «Я товарищу подполковнику жизнью обязан». Потом сообщил, что скоро демобилизации ждет, и попросил зачем-то твой адрес. Женщина назвала ему свой московский...

Сорок шестой был неурожайным, и москвичи питались только по скудным карточным нормам. Каково же было твое удивление, когда мать женщины, гулявшей с тобой по Берлину, радостно сообщила, что получила с Кубани посылку от твоего боевого товарища. Тебя это совсем не обрадовало, но ты не знал адреса, по которому мог бы послать нагоняй. И хотя сделал это потом, посылок все равно пришло еще несколько. Ты, в свою очередь, поспешил отправить отрез на гражданский костюм. Втянулся в отношения, которые тебя тяготили.

Потом пришло и письмо. Казак сообщал, как восстанавливается хозяйство колхоза и что делает в нем. «Не брезгуйте водиться со мной,— употребил он ребячьи слова, — ибо воинское свое понимание, которое через вас получил, применяю сейчас на производство продуктов для страны и народа, и вы не можете заставить меня позабыть в отношении вас. Я о том перед смертью детям признаюсь, чтобы и они почитали вас».

Через несколько лет, когда ты давно уже стал москвичом, он пришел к тебе со Звездой на груди. Ему для того, вероятно, вручили ее, чтобы ты с этих пор уже никогда не стыдился нерешительности своей в сорок втором. Чтобы тогдашнее твое малодушие могло стать возведенным в великодушие и подкрепиться уверенностью, будто последнее всегда дает такие плоды.

Необыкновенность судьбы казака переплела исключаящие

друг друга понятия. И не знаешь, что именно сделал ты: труса прикрыл ли, героя ли спас?

Но от попыток определений ты морщишься, говоришь, что ни до чего в этой истории не надо доискиваться, и коротко заключаешь ее:

— Так вышло, и все...

Глава 6. Она была когда-то радисткой

Преступление, оставшееся вашей обоюдной тайной, искупилось последующей пользой, принесенной тобой делу войны.

Подвигов, которые становились бы общеизвестными, за тобою не значится. Но разведчики первыми проникали в места, куда втягивались затем батальоны. И ты первым подсказывал командиру полка, где можно прокрасться к противнику с тыла, а где есть возможность фронтового удара. Все это давало тебе безусловное право считать себя нужным для войны человеком.

Потом из полка ты был забран, оружием твоим стало ухо. Допросив уже сотни немецких солдат и разобрав много документов противника, ты поднаторел в языке, и тебя обучили радиосвязи — подслушивать, что делается в стане врага. Твоя деятельность стала неприметной вовне — даже поселен был отшельником, — но... кто знает, сколько решений командования принималось теперь по твоим перехватам. Слух у тебя был отличный: его не могла обмануть никакая смена позывных и паролей, всех радистов противостоящих частей ты распознавал по голосу, акценту и выговору, привил чувствительность и ушам подчиненных своих, делал многое, чтобы противнику дорого обходилась его радиосвязь.

Потом тебя взяли из спецбатальона в другой вид разведки, потом привлекли к штабным разработкам, потом... ты случайно и глупо был ранен при воздушном налете (остался дообедывать в

офицерской столовой, вместо того чтобы в траншею залечь) и отвезен в московский левфортовский госпиталь, где простая случайность изменила всю твою дальнейшую военную жизнь... По палатам бродили однажды какие-то люди, спрашивая, кто здесь знает немецкий язык. Не подозревая, в чем дело, ты отозвался. Они попросили тебя перевести вразумляющее обращение к немцам. «Это у вас очень наивно»,— сказал ты им на прощание, не понимая, как это взрослые люди в такое напряженное время занимаются таким нестоящим делом. Тебе не могло тогда прийти в голову, что просьба их была провокацией, экзаменом, пробой и ты получишь потом направление уже не назад, не в разведку, а в распоряжение этих людей. Это ошеломило, возмутило тебя. Ты бросился было к большому начальнику, подписавшему этот приказ, ты хотел объяснить ему, что невозможно, нелепо пересаживать тебя с важного, нужнейшего дела на несерьезное, пустое, никчемное, и ты, несомненно, убедил бы его, что в войне не призывы нужны, а сила и хитрость, но тебе не удалось проникнуть к нему...

«Внимание, внимание!.. Немецкие солдаты, перебегайте к нам в плен... Спасайте себя, иначе погибнете... Гарантируем сытость и возвращение на родину после войны... Дело Гитлера обречено... Не обманывайтесь тем, что вы временно еще стоите на русской земле... У нас бессчетные силы... За нами пространства, до которых вам никогда не дойти... На них день и ночь выпускаются самолеты, танки, снаряды... Вы по собственному опыту знаете, что их становится все больше и больше... Много ли осталось в вашей дивизии солдат, перешедших границу в сорок первом году... Она уже дважды была перемолота... Вас ждет участь предшественников... Решайтесь же, если не хотите быть погребенными в снежных сугробах России... Сохраните себя для ваших жен и детей...».

Листовки, листовки... Ты их писал, разбрасывал с самолетов, разбрасывал руками разведчиков, вкладывал в минометные

гильзы, передавал партизанам для разброски в тылу. А ночами забирался в автобус, который прятал на опушках лесов, и говорил-говорил-говорил, стараясь глушить усилителем поднимавшуюся орудийную ярость противника. Мины свистели рядышком, в считанных метрах, и ты не раз сам себе удивлялся, как остался живой...

Но не опасности тяготили тебя. Тяготила неблагодарность задачи. Немцы побеждали, немцы были на русской земле, немцев допустили ко всем ее центрам, немцы разрезали ее, расклинили, и чего ради немецкий солдат, ждавший, когда станет здесь фермером, стал бы следовать твоим комичным призывам... Действие их сказалось лишь позже, после перемены военной судьбы, после Сталинграда и тревожных речей в Спорт-Паласе, после того, как твой фронт в одно лето скакнул от Смоленщины почти до границы. Тогда великое множество немецких солдат из великого множества разбитых частей стали выходить из лесов на дороги, поднимая над головой прибереженные, мятые, писанные тобою листовки... В июле сорок четвертого ты, уже не таясь, летал над лесами в открытом биплане почти над верхушками сосен и, держа у рта микрофон, сообщал, как выходить на шоссе, где сборный пункт...

В это торжество ты внес свою лепту. Во все торжества, чередовавшиеся потом одно за другим. И в мае сорок пятого года, когда пронеслась долгожданная весть, ты потому не мог справиться со спазмами в горле, что сам все четыре мучительных года жил войной, жил для войны и победа народа была твоей личной победой.

Ты не совершал героических актов, увенчиваемых вручением больших орденов. Твоя жизнь на войне была не цепочкою подвигов, а вседневным подвижничеством. Первая половина войны связана в твоей памяти с калом, смердевшим вокруг нор и землянок, и с кровью, что струилась на снег. Кал и кровь, кровь и кал... Потом ты помнишь веселую пору движения и

лихорадочной деятельности. Но, странное дело, в тот первый период, когда ты считал себя чуть ли не преданным и чуял, что на тебя возлегло исправлять тяжелые ошибки людей, правивших судьбами страны и народа,— в этот период кровь, кал, вши, сухари, плошки и гарь, вся кротовая жизнь и все ее запахи только поднимали в тебе священное чувство служения, усиливали гордое сознание мученичества, что тогда называлось войной. Это было ненужное мученичество, которого Россия могла избежать, но ты ощущал через него величие времени, не поколебленное ни горем, ни вшами. Величие, создавшее славу владык, но выгуженное страстотерпцем-народом.

В мирное время военное мужество тускнеет перед гражданским. И переходит с полей в кинофильмы, в учебники, в стихи и легенды. Наверное, уже недалеко до поры, когда Сталинградская битва станет для наших детей Бородинской. Обе сделаются для них одинаково давними, как равно древние им Александр Македонский и Александр Второй, упокоенные лишь на разных страницах учебника, но ты до конца своей жизни будешь удовлетворенно вспоминать о поре, в которой есть что вспомнить о себе...

Сюда вплетутся и события иного, близкого ряда. Вернее, они переплетутся с военными. Но воспоминания о них принадлежат уже не тебе, а Наталии Сергеевне. Сам ты не очень словоохотлив тут. Ну, встретился с нею на фронте, и все... А Наталья Сергеевна в разное время расскажет то один, то другой эпизод...

Ты казался этой радистке строгим начальником, и она удивилась, когда ты однажды сказал ей:

— А, знаете, такие светлые блондинки, как вы, теперь дефицитны.

Я где-то читал, что их рождается все меньше и меньше. Когда-то их была половина всех женщин, а сейчас только десятая часть...

В другой раз, зайдя в аппаратную, ты сделал вид, будто не к

ней, а над шифровкой нагнулся, и огорошил ее тихим грубым вопросом:

— Где это вы умудряетесь такие духи доставать тут? С кем амурничаете здесь из штабных?

— Что вы!.. Ни с кем... Как вы смеете! — растерялась она.

— Это плохо. Значит, не у кого узнать о вашем характере, — ответил ты, вдруг улыбнувшись.

Улучив момент, когда она была дома одна, ты пришел в избу, где жили связистки. Застал ее с утюгом в руках, полуодетой, но как ни в чем не бывало расположился на стуле, сев на отглаженную только что гимнастерку.

— Посмотрите, на что вы сели, — сказала она. — Неужели не видите?

— А я нарочно, — сказал ты. — Хотел посмотреть, вскрикнете вы, всполошитесь или спокойненько скажете. Теперь вижу, что вы некрикливая.

— А для чего вам этот экзамен? — рассмеялась она,

— Должен знать своих подчиненных.

— И вы их всех так испытываете?

— Ну, на всех у меня любопытства не хватит.

— Польщена. А почему оно обращается лишь на меня?

— Вот этого объяснить не сумею.

— Блондинка? Дефицитная категория девушек?

— Скорей дефицитное для них поведение.

— Не надо, — сказала она. — Ничего не надо о девушках... Все вы не понимаете, как им здесь трудно... При штабе-то еще ничего, мы здесь в отдельной избе и вообще... А вот в части... Ни переодеться, ни своего уголка. На войне всем очень плохо, девушкам особенно плохо, как бы мы ни хотели, чтобы все

оставалось у них хорошо... И вам не идет осуждать. Вы не такой.

— А какой?

Она подумала, внимательно на него посмотрела.

— По-моему, вы тем меньше суровый, чем больше стараетесь походить на сурового.

Ответить ты не успел. В сенях слышались голоса, ты вскочил, стал что-то официально выговаривать ей за мнимую путаницу в каком-то приеме и, поклонившись девушкам, вышел.

— Вы ведь москвичка?! В Москву сегодня идет самолет! — заговорщически сообщил ты ей через несколько дней. — Готовьте маме и братишке посылочку. Быстренько. Летчик знакомый, он занесет.

— Ох! — обрадовалась и растерялась она. — Но ...у меня нет ничего... Можно мне сбегать на пятнадцать минут в военторг?

— Там тоже нет ничего. Но вчера выдавали офицерский паек. Пятьсот колотого, четыреста сливочного, две пачки печенья, кусок туалетного, баночка кильки и баночка ваксы.

— Это не мой паек, — холодно сказала она. — И откуда вам известно про маму, про брата?

— Я разведчик, мне все известно.

— Я тоже разведчица, и мне тоже известно. Треугольнички с выведенными печатными буквами... Как вам не стыдно отправлять посылку не дочке?

Ты смутился:

— Самолет идет не в Сибирь, а в Москву.

— Все равно... Как вы смели мне предложить? Что предложили бы после пайка?

И она вдруг расплакалась.

— Глупая! Какая ж ты глупая! — вскричал ты, неожиданно

схватив ее руки. — Как могло это тебе прийти в голову?! Я хотел только... хотел только маленькую радость тебе...

И ты сам не знал, как это вышло, что почувствовал вдруг на губах сладкую соль ее слез... Она поддалась, словно это мама ее утешает, потом сразу отпрянула, выбежала. Выбежала не в аппаратную, а неизвестно куда. Ты послал потом вестового разыскивать, но он нигде не нашел ее. И толь-

ко впоследствии ты узнал, что она весь этот день пробыла за деревней, в поле, в лесу, сама не помнила где...

Медовые одиннадцать суток вы провели тоже далеко за деревней, и это был доподлинно рай в шалаше. За линией фронта, с аппаратурой, с рассчитанным по граммам запасом консервов и с необыкновенным заданием: путать немецкие карты появлением нового немецкого функера... Распознали тебя очень скоро, но ералаша в эфир ты внес немало, и голоса в нем с опаской притихли... А Наташа стала с этой поры твоей женой и пожизненным другом.

Рай в шалаше не прошел вам, к сожалению, даром. Взяв с собой на задание женщину и отказавшись от человека, которому надлежало быть третьим, ты не смог этого сделать бесследно. Дело дошло до начальника штаба, и между вами произошел такой разговор:

— Как это вы, майор, могли позволить себе! Находились на особом задании...

— Задание, товарищ генерал, выполнялось.

— Еще бы! Иначе бы с вами не я, а трибунал разговаривал. Ну, ладно... Девицу перевести в штаб дивизии! Чтобы ее сегодня же не было здесь! Ясно вам?!

— Так точно. Но позвольте сказать... Она не девица... Не то, что вы думаете... Я люблю ее... Она не из тех...

— Это что еще значит?! Кру-гом!

Держа руку у козырька, ты повернулся на каблуках, но когда был уже у двери, генерал вдруг окликнул:

— Стойте! Подойдите... У вас семья?

— Семья.

— Аттестат на нее?

— На нее.

— Пишут?

— Пишут.

— Ждут?

— Ждут.

— Советую подумать об этом. Кру-гом!

Так по твоей вине Наташа лишилась дощатого пола, электричества, столовой, подруг... И доброго имени... Но ее, очевидно, так заполонили одиннадцать дней, что она стоически перенесла все мытарства остальных семисот, считая их неизбежною оплатою счастья... Впрочем, эти два года в сами полны были радостей: вы находили друг друга в эфире, по проводу, вглядывались в фотографии, в почерки, слали и получали приветы с шоферами и через всяких заезжих, а несколько раз вам удавались и праздники — это случалось, когда тебя посылали в штаб армии, а маршрут позволял заглянуть и в дивизию...

Но самой длительной, дорогой и скрепляющей вышла встреча в Москве... У тебя приостановилось дыхание, когда ты, не веря глазам, увидел Наташу в лефортовском госпитале... В первый момент слов не нашлось...

— Ты?.. Ты?.. Здесь?..

— Узнала... Мне дали отпуск... Родной мой, родной... Ты не вскакивай... Бога ради не вскакивай...

И ты ощутил, что эта женщина в белом халатике, бледная, тоненькая, с большими глазами, в которых стояли и тревога и счастье,— самое дорогое для тебя существо.

Теперь ты с утра стал жить ожиданием вечера. Наташу пускали на час перед ужином, она садилась у койки, почти вплотную примыкавшей к другим, вы больше молчали, чем разговаривали, но рана стала быстрее заживать и ход войны казался счастливее, чем он тогда был.

А было на вашем Западном фронте еще совершенно недвижно, в Москве затемнено и голодно. Сталинград уже придал силы сердцам, но дивизия Наташи не выбилась из окопов Смоленщины, брат не учился, а делал патроны, мать капала из пузырьчика в гороховый суп масло, служившее прежде для швейной машины... Ты деловито распределял госпитальные завтраки, обеды и ужины: съедал гарнир, а котлету припрятывал, снимал с бутерброда бекон, откладывал сахар. Укрывал это все в ночном столике, заслоняя лекарствами, чтобы не увидела сестра. Наташа ни за что не хотела брать твоих накоплений, но ты заставлял ее половину съедать при тебе, а другую засовывал ей в карман гимнастерки... Пакостное и жалкое время? Нет, дорогое сердцу и памяти...

Чтобы побыть хоть немного вместе с Наташей, ты умолил врачей отпустить тебя раньше срока. И провел у нее несколько суток, представленный матери и брату как зять...

Это была семья инженера, погибшего в самом начале войны, когда устанавливал в столице локаторы. Именно тогда Наташа сразу попросилась на фронт, бросив свой институт. И ты понял, почему она, такая живая, игривая, избегала на фронте мужского внимания, — он был для нее выполнением дочернего долга... В чистенькой, полученной перед самой войной квартире на Ленинградском проспекте висели увеличенные портреты отца, лежали нетронутыми разные инструменты, приборы, хранились тетрадки с исчислением дальности, азимута... Мать покорило

появление неожиданного зятя, привезенного дочерью с военных дорог, где не в браки вступают, а спариваются, но она ни о чем его не расспрашивала и ничего не планировала. Изболевшись по дочери, она и с ней не говорила о том, как это вышло и что дальше будет, а только гладила ее волосы, старалась взять ее руку в свою и смотрела на нее со сдержанной грустью.

Зато пятнадцатилетний твой шурин, хотя и ревновал сестру к незнакомцу, отнесся к тебе с большим любопытством, расспрашивал о разведке, о рациях, о заброске воздушных десантов и допытывался, когда двинется фронт. Мальчик ходил в полувоенном костюме, нацеплял раздобытую каким-то путем портупею, знал все виды оружия, следил за военными сводками и, неистово желая скорейшей победы, в то же время тайно побаивался, что война закончится еще до того, как он сможет принять в ней участие. Ты жалел, что у тебя не было при себе офицерского фонаря, полевого бинокля или хотя бы планшетки, которые мог бы ему подарить. Располагал ты только буханками хлеба, концентратами, сахаром, куском затвердевшего сала...

Некогда войны велись только армиями и только на окраинах стран. Городской обыватель мало чувствовал их. Его борщи оставались столь же наваристыми, и свиная селянка в недельном меню чередовалась по-прежнему с телячьей грудинкой. Мемуарист времен Семилетней войны отмечал, что во все ее продолжение ни на копейку не повысились цены на вещи, не пала стоимость денег и не уменьшился привоз на базары, а современник бесконечных походов Суворова жаловался только на рестораторов, выдававших дешевые итальянские вина за марочные... Но уже через два года русско-германской войны начались голодные бунты, а через два месяца с начала Великой Отечественной в стране введен был спасительный голодный паек. Спасительный, ибо без него осеклись бы и все виды производившегося страной оружия, и всенародное мужество, превзошедшее и выдержку греков в эпоху войн с персами, и

бесшабашное презрение римлян к страху перед физической смертью. Без продовольственных карточек мы бы погибли... Но не дай бог другим поколениям тоже познать эпоху продовольственных карточек.

Все радостные людям события, даты и праздники овеществляются в чревоугодии. Их отмечают — на свой лад в каждом кругу — обилием, изысканностью и украшением всякого рода еды. Она поддерживает, скрепляет, увенчивает приательства, сближения, дружбы, родство. И неловкость твоего пребывания в доме Наташи, напряженность в отношениях с тещей, двойственность самого твоего положения в этой семье сгладила тоже еда. Но не обилие, а крайняя скудость еды. Будь ее много, будь на столе и то и другое, холодок в отношениях никогда не развеялся бы, ты уехал бы из этого дома таким же чужаком, как вошел в него. Но когда ты не дотрагивался до выданного тебе как больному серого хлеба, утверждая, что ешь только черный, перекладывал из своей тарелки в Наташину кусочек картошки, не брал сахара, уверяя, будто у тебя от него зубы болят, и настоял на том, чтобы масло ел только Петя, так как ему, растущему, нужно больше калорий, а Наташу твои жертвы приводили в неистовство, — мать приглядывалась к вам и неприметно теплела...

На вокзале она решилась поцеловать тебя в лоб. Ты поцеловал ее в щеку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. В доме у Натальи Сергеевны

На столе — ни колбас, ни ветчины, ни селедок, никакой привычной еды. Все блюда изготовлены лично хозяйкой, большинство их неведомо, и гостям приходится долго разгадывать, из чего они состоят. Но попробуй не ошибиться, когда в паштете и рыба, и грецкий орех, и чеснок, в другом — куриное мясо с салом, мадерой и фруктовыми соками, в

третьем—■ телятина с протертым сыром, лимоном и сливочным маслом, а салаты смонтированы столь многосложно, что без очков в них разобраться нельзя. Гости стараются вдуматься, вчувствоваться в каждое блюдо, но всех его компонентов они все же не могут назвать, чем Наталья Сергеевна очень довольна. Потом она великодушно делится своими секретами, благо в следующий раз изобретет что-нибудь новое. Ведь у нее и Молоховец, и Гудериан (да, да, тот самый, что написал и о танках!), и много новейших пособий, а главное, неустанная выдумка...

Ты любишь в жене эту энергию и честолобивую жилку. Может быть, сам и привил ее. Охотно помогаешь ей выколупывать ядрышки орехов для торта, сбивать желтки, прокручивать фарши. А когда выходишь к столу, где закуски украшены яркими перцами, зеленью и майонезной мозаикой, обозреваешь его сервировку, любишься гранью хрустальных графинов и чуешь плывущие запахи, смешанные с ароматом цветов, расставленных в тоненьких, как стебельчики, сосудиках, то удовлетворенно потираешь руки. «Согласитесь, — говоришь ты нам, — что это чудесно, друзья. Это надо вкушать! Признаюсь, что люблю эти маленькие радости жизни. В старости делаешься эпикурейцем... Сядем же опустошать и воздавать хозяйке хвалу».

А Наталья Сергеевна оправдывается перед гостями за такое обилие:

— Я знаю, что это старомодно, товарищи. Теперь даже на самых высоких приемах подают только несколько блюд. Но, как вы знаете, мой муж сибиряк... И пусть это консервативно, но мы любим, чтобы у нас ели в свое удовольствие.

Она рассказывает о виденном в заграничных поездках, о скромности, с какой теперь принимают гостей в разных странах и в разных кругах, и добавляет, что, на ее взгляд, умение много и вкусно кормить должно остаться русским национальным

отличием. Можно и нужно перенимать очень многое, но когда вам подают белый соус, в котором еле виднеется куриное крылышко, то бог с ним, с Монмартром... Они там бродили целый день среди живописи, почти даром купили вон те две акварели, но в ресторане потратили безумные деньги и остались голодными.

Ты замечаешь на это, что и у нас крайне оскудела еда. Упростилась до чрезвычайности. Сколько делалось в Сибири всевозможнейших блюд, теперь совершенно исчезнувших! Развилось техническое и научное творчество, а творчества в еде теперь нет.

Кто-то из гостей говорит, что какое там может быть творчество, когда вымерла вся лучшая рыба, вкус парного мяса забыт, туши поступают в продажу без вырезки, масло не масло... Ты подхватываешь эту тему и вспоминаешь нельму, сосвинскую сельдь, селенгу, привозы на городские базары, где утрами крестьяне отдавали все ни по чем, лишь бы продать или сделать почин. При этом ты ссылаешься на меня, свидетеля твоей молодости и былого обилия.

— Да, — подтверждаю я, — всяких рыб было много, но зато у тебя тогда не было специальных лопаточек и приборов для рыбы.

Наталья Сергеевна вновь оживляется. Это же ее тема, которая могла бы иначе остаться упущенной! Эти особые вилочки с инкрустированными хвостами и жабрами она купила случайно. Они уникальны. Им сто с лишним лет. А вот все остальные приборы она специально искала, заменив ими прежние, привезенные еще из Германии. Есть нужно плотно, по-старому, но в сервировке стола нужен, конечно, известный модерн. В меру, но нужен. Прежние ложки теперь режут глаз. А нынешние — видите вот — они округленные. Старая яйцевидная форма исчезла. А ножи и вилки теперь короче и шире, чем раньше. Завести их не так уже сложно, потому что

стоят недорого. А вот обновлять сервизы было бы глупостью. Нынешние глубокие

тарелки — уже не глубокие, они бесформенны, на манер узбекских пиал, суповые миски — приземистые, а чашки уродливы... Как можно это даже и сравнивать с настоящим хученрейторовским столовым сервизом или мейсенским чайным! Бог с ним, с модерном! Он, может быть, проще, удобней, но совершенно безрадостен. А старый баварский и саксонский фарфор... Вы только взгляните в рисунок, в глазурь...

Хотя гости уже не раз любовались твоей великолепной посудой, не уступающей ее образцам за музейным стеклом, они снова подносят к носу тарелочки, переворачивают их, разглядывают скрещенные мечи и короны, подтверждают, что эти эмблемы делают яства еще много вкусней.

Модерн в посуде осужден окончательно, и разговор перебрасывается на новые моды вообще. Начинаются шутки о мини. Кто-то рассказывает, что в Англии они повели к нескольким серьезным авариям — останавливаясь у светофоров, шоферы заглядывались на пешеходок, промедляли дать газ, сзади на них налетали... Другой из гостей находился в Голландии, когда там разыгрался парламентский скандал: из-за коленок стенографисток депутаты прозевали дебаты. В палате запрещены теперь мини и даже вырезы строго нормированы.

— Ну, голые коленки у молоденьких девушек — это еще ничего, к этому глаз уже привык, — замечает какая-то дама, — но у женщин в возрасте они непростительны.

Эта гостья чуть-чуть полновата, и ты пользуешься случаем сказать ей приятное.

— Нет, дело не в паспорте, а в форме коленок, — галантно возражаешь ты ей, — если они круглы, не острые, то почему им не оставаться открытыми...

— После этого хотят, чтобы дети не развращались! — смеется твой сын.

— У коротких платьев будет и короткая жизнь, — бросает другая дама, коленки которой трудно проверить. — Через два-три сезона они удлинятся. А потом и вообще наступит реакция.

— Вы правы, на свете все возвращается и против всего наступает реакция, — вставляет какой-то философ.

— Ну, нет, не все! — отводишь ты разговор от темы, которая может стать скользкой. — Нашему внучонку скоро два года, а он лишь на днях первый раз в жизни лошадку увидел. Дочь рассказывала, что пришел домой в большом возбуждении. Согласитесь, что лошадка — животное, вымершее на московском асфальте. И это впрямь невозвратимое зрелище.

— Да, — подтверждает одна из гостей, — эти клопики знают теперь животных только по сказкам, картинкам...

— И не поймут, если вы назовете их клопиками, — замечает другая, — потому что клопов они тоже не видели.

— Да здравствует ДДТ и моторы! — вставляет твой сын, но женщины уже подхватывают тему о детях. Начинаются рассказы о том, как они нынче умны и всезнающи. Одни расхваливают своих внуков намеками, другие — применяя к ним прилагательные, не скрывающие превосходную степень.

С детей разговор перекидывается на мам и на бабушек, в том числе и отсутствующих общих знакомых. Зная, что хозяйка должна ко всем проявлять снисходительность, Наталья Сергеевна с улыбкой выслушивает порицания по адресу близких приятельниц, которые на прошлой неделе тоже судачили у нее за столом. Потом кто-то сказал, что одна из них непомерно худеет и врачи опасаются худшего. Тогда каждая женщина говорит «Какой ужас!» и находит, что рассказать о собственной родственнице или родственнице своих близких родственников, у которой уже пошли

метастазы. Приводятся страшные случаи с молодыми и еще недавно цветущими женщинами, умирающими или умершими в ужасных мучениях. Одна из них молила мужа и пятнадцатилетнего сына дать ей яд, положить конец этим нестерпимым страданиям, но те не смогли...

— Почему не делают этого сами врачи, почему им запрещается это? — негодует дама, разрешавшая девушкам мини.

Ты объясняешь, что вопрос этот старый, возникавший еще столетие назад, что врачей, соглашавшихся умерщвлять безнадежных больных, всюду судили, что об этом много писали и пишут.

Гости начинают спорить о том, гуманен или жесток был бы яд, и не вернее ли было бы говорить иному больному страшную правду, чем скрывать ее от него, продлевая мучения... Кто-то сравнивает состояние такого больного с состоянием заключенного в камере смертников, и темой спора становится уже смертная казнь. Тебе со студенческих времен известно много монографий о ней, известно, что за и против нее спорили во все времена, но по долгу хозяина ты терпеливо слушаешь всех дилетанток и помогаешь жене обносить их чаем и тортом. Чай пьется уже не за столом, а на диване и в креслицах. Так удобнее, и таков здесь ритуал. Одна из дам, хваля торт, который несравнимо вкусней любого готового, продолжает, однако, отстаивать и смертную казнь, без которой нельзя было бы ходить вечерами по улице, и ты, некогда ее безусловный, убежденный противник, заключаешь этот разговор примирительно: да, отменять этой меры не надо, как и применять ее столь часто, как ныне. «Будем держать ее, Анна Филипповна, в нашем резерве для каких-нибудь особенных зверств». Как мило и мягко ты это сказал! И фраза была такой всеуспокаивающей, что сразу позволила переключиться на чай. Ты спросил гостей, как он им нравится, сообщил, какие сорта покупаешь и смешиваешь, никому не доверяя заварку.

— Для меня чай—основное. Наталья Сергеевна и Сережа утром пьют кофе, а я — только чай. И после обеда, и вечером. В день выпиваю семь-восемь стаканов. Говорят, любовь к чаю—признак старения, но что ж делать, не могу без него.

— Скоро одиннадцать! — вспоминает Наталья Сергеевна. — Сегодня должен быть «Огонек».

Некоторые гости готовы смотреть его, другие отмалчиваются. Начинаются споры о телевизоре. Кто-то говорит, что из-за него вечерами вымирают теперь города. Одна гостья жалуется, что не может оторвать от него своих мальчиков, что он чересчур возбуждает их, они поздно ложатся, не высыпаются. Другая дама считает, что телевизор, наоборот, развивает детей.

— И не только детей, — говоришь ты. — Разве могли бы без него миллионы людей смотреть столько фильмов, спектаклей, слушать столько полезных вещей!

Я решаюсь напомнить, что ты однажды говорил мне другое: жаловался, что телевидение разобщает людей, вытесняет печатное слово, ведет к бездумью, к безмыслию, и назвал его бедствием нашего времени.

— Возможно, что я так говорил, — соглашаешься ты, — но это не мое разноречие, а противоречивое действие самого телевидения...

Потом мы смотрим на экране эстрадный концерт, сопровождаемый скучным, но идущим в бравых тонах конферансом. И у нас снова начинаются споры — на сей раз о том, не староват ли такой-то актер, не грузновата ли танцовщица, обязателен ли для пения голос или он может быть возмещен придыханиями...

Зная, что женщинам нужно немножко злословия, ты пошучиваешь над их приговорами актрисам, но те и впрямь не могут понравиться пресыщенным зрительницам. Участвующий в

концерте известный актер дает повод заговорить о театре, и ты с общего одобрения выключаешь экран. Одна из дам начинает оживленно рассказывать о последнем спектакле в одном из московских театров. Говорит не столько о пьесе, сколько об ее шумном успехе и трудностях, с какими она достала билет.

— Ну, успех обеспечен был тем, что спектакль разругали газеты, а вот стоит ли он в самом деле чего-нибудь? — справляешься ты.

Дама уверяет, что стоит. Всего двое участников, идет без декораций, без грима, а публике не скучно, следит с напряжением.

— Без декораций, без грима... А почему бы и не без билетов? — улыбаешься ты, добавляя, что шутишь, что пьеса, наверное, впрямь любопытна.

Но это сказано только из вежливости. Я не знаю, что тебе теперь любопытно... Когда-то ты считал такие пьесы несостоящими и спрашивал, как это драматургам не стыдно в наше путаное, многосложное время писать пустяки... А потом ты как-то сказал мне, что публика так устала от войн и угроз войны, столько наслушалась и насмотрелась подлинных ужасов, ей так надоели проблемы и события вселенских масштабов, что впечатляют ее уже не они, а дела житейские, маленькие...

Наталья Сергеевна приносит из холодильника кофе-глассе.

— Не могу, — говорит один из гостей, — уже не вмещу в себя. Вот если бы можно еще чашечку чая...

Хозяйка спешит на кухню и возвращается оттуда в тревоге.

— Чайник я поставила, — сообщает она, — но, представляете, нет, оказывается, горячей воды.

— Ну, это на полчаса-час, — говоришь ты.

— Нет, исключили, наверное, на сутки — на двое. Какие-

нибудь котлы или, как они там называются, бойлеры... И не предупредили... А у меня столько посуды... Просто ужас, что с нами делают...

— Вскипятить воду — минутное дело, — бросаешь ты.

— А ванна? Как будем с ванной?! Эти управдомы и слесари творят что хотят.

Наталья Сергеевна всерьез озабочена. А мне вдруг вспоминается ее же рассказ о ведрах воды, добывавшихся ею журавлем из колодца. Воду она ставила у крыльца, заставляя товаров-связисток отмывать глину с сапог...

Я встаю, ухожу от других гостей и рассматриваю в твоём кабинете давно знакомую мне фотографию офицера с молоденькой женщиной. На ней была тогда юбка, сшитая из его гимнастерки... Наталья Сергеевна не умела в ту пору готовить замысловатых паштетов, но умела пеленговать, засекать, выйти из фединга, поймать частоту...

Вспоминается, что она дочь инженера, изучавшего радиоэхо, и еще первокурсницей помогала в этом отцу. Вспоминается, что особняк, занимавшийся потом тобою в Карлсхорсте, уже не предрасполагал молодую жену к возне с генераторами. Вспоминается, что потом у нее дети пошли, муж стал влиятельным...

Гости засиживаются, и твой сын развозит их потом по домам. Автомобилист он прекрасный, и машина—одна из немногочисленных тем, на которые он готов разговаривать с твоими гостями. Он знает все марки, следит по журналам за новшествами, вводимыми иностранными фирмами, жалеет, что они недоступны ему. Машина в его руках то сдержанна, то темпераментна, ведет он ее механически, готов ко всем коварствам движения, и с ним бестревожно. Мне нравится, как он держит руль — не обнимает его, как иные водители, а едва прикасается кончиками чужих пальцев. Вначале это было у

него, вероятно, кокетством, теперь стало привычной манерой. И хотя он беззаботно, без напряжения скользит в водовороте московского транспорта, но поругивает нас и свою и все остальные машины. Приходится, говорит, все время включать, сцеплять и так далее, а надо бы иметь для этого кнопку, и все! Вот у новых «Рено» автоматика, электромагнетика.. Передаточные механизмы там уже не чинят, а просто меняют... А у Форда... У «Дженерал моторе»...

Вскоре мы дома. Наталья Сергеевна любезно звонит, осведомляется, как ее сын нас довед. Он еще не вернулся, развозит других. Жена благодарит за превосходнейший вечер. «Как всегда, в вашем доме был изысканный стол, интересные люди». И я тоже решаю, что вечер прошел хорошо. Переговорили о модах, о женском вопросе, о смертной казни, об искусстве, о раке, о педагогике, о марках машин — обо всем... Плюс к тому жена записала четыре рецепта...

Глава 2. Другого еще не придумано

Я видел их в счастье. Это было лет девять назад на черноморском курорте. В санатории, на прогулках, на пляже — всюду привлекали они общие взгляды. В мужчине не виделось черт грубой силы, но его тонкого покроя фигура была одновременно крепкой, и женщины на нее откровенно засматривались. Жена, под стать мужу, отличалась изяществом, и ее равномерно загорелое тело носило девический облик. Любопытство, которое они пробуждали к себе, усиливалось обаянием известного актерского имени и тем, что супругов всегда видели только вдвоем. С ними искали знакомства, а они удовлетворялись собственным обществом.

Но женщина вовсе не была нелюдимой. Она мило здоровалась с нами в столовой, живо откликнулась, когда с ней заговаривали, и терпеливо переносила людей, искавших случая навязывать ей себя в собеседники. Стараясь делать людям приятное, она хвалила официанткам все блюда и хлопала всем

приезжавшим эстрадникам. Однажды она подошла к человеку, искавшему ножницы, и сама обрезала ему сломавшийся ноготь. В другой раз вынесла старушке, коротавшей на веранде время за спицами, большой клубок шерсти, сказав, что думала тоже вязать и взяла с собой целый пакет. Она совсем не производила впечатления чопорной и, значит, потому проводила время лишь с мужем, что он был ей интересней других людей.

Я несколько раз издали видел, как держалась она с ним за столом. Держалась не как жена, прожившая с мужем уже много лет, а с той неуловимой игривостью, которую рождает желание нравиться. Сохранение такого чувства в долгом замужестве — счастье, и я понял, что у них оно есть.

Однажды я разговорился с нею перед дверью врача, за которой ее муж отбывал повинность курортника.

— Ему не нужно никакого лечения, — сказала она. — Мы здесь потому, что он подвернул весной ногу, получилось растяжение, оно еще ощущается, и нужно недельки три покупаться. А обычно проводим отпуск иначе. Садимся всем кланом в междугородный автобус, смотрим в окно и вылезаем там, где приглянется. Нам нужны лес, речка и пристанище в чистой избе. Много бродим, купаемся, собираем грибы. Муж сам не понимает, как устает от театральной суеты. Отдых для него — быть подальше от сцены, от мыслей о ней. Я вырываю его из актерской среды. Вне города не менее красок, чем в вечернем мелькании неона на улицах. Правда, долго жить в тишине он не может, но месяц выдерживает.

— Приобщаете его, значит, к природе?

— Стараюсь. Ведь потом у него обычно летом гастроли. То за рубеж, то по стране. Разъезды, напряжение, шум. А в деревне мы даже не смотрим газет, не слушаем радио. Берем с собой только несколько стоящих книжек и читаем их вслух.

— А как отбираете вы эти стоящие? — любопытствовал

я. — Какая тут мерка?

— Мерка? Ну, это трудно так сразу... Впрочем, она, пожалуй, простая... Мы едим летом много яиц, сметаны, зелени, ягод и потому не хотим, чтобы и книжки были питательны, как куриный белок, и полезны, как витамины.

— Ваши вкусы всегда сходятся со вкусами мужа?

— Ну, одно только сходство без разноречий было бы скучно,— рассмеялась она. — А у нас их достаточно.

— Эти разноречия, — спросил я, — не семейная тайна?

— Нисколько. Мужа изводит толчея театрального мира, и в то же время он не может без нее обходиться. А я совершенно не втягиваюсь в закулисную жизнь. Он человек безрежимный, а я требую соблюдения часов и порядка. Вот главные наши несходства.

— Чую, — сказал я, — что нелегко быть женою артиста, да еще причастного к славе.

— О, славы у нас на почтовый ящик такого формата, что его пришлось специально заказывать! — засмеялась она. — Столько поклонниц, что к ним я уже не ревную. Ревную его только к дочке.

Оказалось, что у них двое детей—пятиклассник и второклассница.

— Мы впервые проводим отпуск без них.

Ее муж вышел от врача, и мы поклонились друг другу.

— Вижу, что оставлять жену без глаза — непростительное легкомыслие,— пошутил он.

— Особенно такую жену, — ответил я искренне, — за которой здесь все глаза следят с восхищением. Но, увы, тщетно следят.

Этим мимолетным разговором ограничилось наше знакомство, пока накануне разезда мы не оказались вместе в экскурсиях и мне удалось понаблюдать эту женщину ближе, убедившись, что живет она вовсе не отражением известности мужа, не одомашниванием его богемной натуры и не одним материнством.

Крым знают миллионы людей. Общеизвестно чарование его моря, гор, скалистых пустынь, пышной растительности, розариев, суровых ущелий,

виноградников, головокружительных пропастей, современных живописных поселков и обломков далеких времен. Гиды рассказывают здесь о скифах, о виноделии, о Пушкине, о розовом масле, показывают дворец хана, наместника, водопады, заповедники флоры, курганы... Но это обаяние Крыма, это переплетение веков и культур оказались для нас во сто крат ощутимее оттого, что среди нас была женщина, чувствовавшая места и эпохи так, как никакие гиды из туристских бюро. Те говорили заученное, а наша спутница тихо читала в доме поэта его малоизвестные строчки, вспоминала в Бахчисарае легенды о ханах, а у моря — о римлянине и его «Скорбной элегии», мысленно возносила на горные пики высившиеся здесь некогда замки, перебирала у портрета жены генерал-губернатора, разноречивые свидетельства его современников о том, любил или не любил ту женщину Пушкин, рассказывала эпизоды из жизни князя Тавриды и знала, какие старинные песни лились на прибрежной скале, когда взбирался на нее, наезжая сюда, великий русский певец...

И все это лишь прорывалось, все было произвольным, навеваемым чьим-либо портретом, именем, видом или названием местности, все говорилось вполголоса, только мужу да людям, шедшим с ней рядом, и ей становилось даже неловко, когда мы старались приблизиться, услышать побольше и дивились, откуда в ней это... Дивились даже не знаниям, ибо суть была не в них, а

в ее ощущении прошлого, умении переноситься в него. Оказалось, что этой женщине, хвалившей бескалорийное чтение, известны чуть ли не все мемуары прошлого века, что она историк театра, написала уже несколько книг. И я почувал, что это она утончает и направляет талант человека, которому неистово хлопают театралки Москвы. Было ей тогда тридцать три года.

В памяти остался образ привлекательной женщины, у которой *esprit* ' сочетался со спортивной фигурой, сдержанность — с простотой и приветливостью.

Прошло несколько лет. Я редко бываю в театре и потому не заметил, что общеизвестный актер куда-то исчез, не появлялся на сцене. «Как же вы не знаете, — пристыдили меня, — ведь он попал в аварию, жутко разбился». Потом услышал, что он лежит в глазной клинике и его там несколько раз оперировали. Рассказывались подробности, но я не хотел их — перед глазами стояла чудесная пара на крымском курорте...

Через год я узнал, что актер выпущен из больницы с невосстановленным зрением. Еще через год был потрясен сообщением об отравлении мужа женой...

Я не верил. Не верил следствию, не верил экспертам, не верил самой женщине, что она это сделала. А потом пришлось признать очевидность...

Знакомый психиатр, ведавший клиникой, в которую ее помещали для проверки вменяемости, рассказывал мне, что свой страшный поступок она коротко объяснила волей мужа не жить в слепоте.

— Он всем своим поведением требовал, молил, ускорял... Больше ничего не могу вам сказать...

Однажды она попросила:

— Не надо смотреть за мной в оба... Зачем ваши санитары всегда по пятам?.. Я ничего над собою не сделаю. Мне

предстоит важный труд, и я должна оставаться...

Это прозвучало слишком здраво, продуманно...

Психиатр расспрашивал ее о характере мужа.

Она отвечала, что он, как все актеры, был уязвим для обид и равнодушен к хвале. Надписывал карточки, хранил плакаты рецензии. Страдал, когда другой играл его роли, отнимал его отличие, делая то же, что он. Если не считать этого ревнивого чувства, был благожелателен, бескорыстен и весел. Ослепнув, стал сразу другим. Заставил однажды сына найти и перечитать ему вслух старую статью театрального критика и, не дослушав, стал рвать ее. Потом, отдышавшись, сказал:

— Наклей... на картон.

¹ *Esprit (фр.) — ум.*

Сын убрал вещи, которые могли бы бередить. Не нащупав на столе альбома с малахитовой крышкой, преподнесенного ему коллективом театра в торжественный день, отец стал грубо кричать. Сын достал альбом с антресолей. Отец — намеренно или нечаянно — уронил его на пол. Крышка разбилась.

— И хорошо!—сказал он злорадно. — Это никому не нужно теперь.

Потом его лицо искривилось:

— Прости меня, сынок... Это вещь дорогая... Вы могли бы продать... Неистовство длилось несколько месяцев и сменилось мучительной

тихостью. Он старался делать себя незаметным. Не хотел, чтобы его кормили, что-нибудь подавали, читали ему... Но в нем не выработалось инстинктов слепца. Он натыкался на то и другое... Исчезали, наоборот, даже инстинкты, которые были у зрячего: прежде он всегда одевался не глядя, а теперь долго ощупывал все части костюма...

Стал выходить на улицу с тростью, не разрешал провожать его. Но однажды, выйдя на полчаса после ужина, возвратился мертвенно-бледным и сказал мальчику с деланной игривостью в голосе:

— А что если ты присобачишь ко мне свою велосипедную фару? Прицепишь мне к задку? Чтобы видали шоферы.. Придумаешь такое, конструктор?

В сумбурном письме сыну из тюрьмы говорилось:

«Я отняла у вас, дети, отца. Но он был не только отцом. Он был артистом. Когда мы поженились и я пришла к нему в уборную после спектакля, он долго не хотел, не мог снять с себя грим. Продолжал быть Макбетом, не мог заставить его улечься в себе... Таким он был в двадцать семь, таким оставался в сорок семь, накануне...

Когда он часами стал молча просиживать в кресле, то я видела, сынок, что и ты стал успокаиваться. А я поняла, что раз вползла эта тихость, то не примирится... Когда он плакал, метался, то все-таки верил, что через год или два будут опять оперировать. А замкнулся в себе — значит, понял, что все... А тут постепенно прекратились звонки, перестали справляться... Видел — его уж не ждали...

Для него невозможна была эта тишь. Вокзалы, самолеты, гостиницы и... эта тишь. Разноликие города, разноязычные люди, позолота и бархат партера, сотни горящих, прикованных глаз, грохот аплодисментов, бесконечные вызовы и... эта тишь.

Нет, он не мог... Не мог от солнца, прожекторов, красок, цветов в безысходную, навечную темень. Темень, из которой некуда деться... Не мог!

Если бы он вместе с глазами лишился и слуха, то я жарила бы ему пирожки, настаивала на лимонной корке «Столичную» и сидела бы с ним на садовых скамейках. Но слух его, наоборот,

обострился, и в ушах стояли овации...

Особенно страшны были сны его. Сны без кошмаров, деловые и будничные, в которых всегда что-нибудь репетировалось и партнеры делали что-то не так. Эти сны приходили обычно под утро. Он вскакивал, торопясь, и... садился на кровать протрезвевшим, в сознании своей свободы от времени...

Твой отец мог только жить. Существовать он не мог».

Молва была единомудушна в предвзятости к ней. Убила мужа, потому что он стал ей не нужен таким.

А она поведала невропатологу, именитой исследовательнице, разговаривавшей с нею, как женщина с женщиной:

— Он был очень самолюбив. Чтобы сделать ему указание, режиссеры искали слова и моменты. Я была единственным человеком на свете, руководству которого он отдавался без унижения. И лишь потому, что брал свое в другой сфере...

Когда он ослеп, это стремление брать в чем-то верх над мной, над здоровой, стало особенно нетерпеливым, упорным. Он ждал теперь ночи, чтобы утверждать свою полноценность. Он мстил мне, зрячей, мстил всему зрячему миру... Был разнуждан, обдуманно меня унижал, и я испытывала не животную радость, а ужас... Ужас, ибо это была не тяга ко мне, а мания, лютость. Тут клочкотала какая-то ненависть к жизни, злобный уход в скотство, в ничто... И это все чаще стало кончаться бессильным рыданием, и мне слышалось иступленное, тихое: «Ну, сделай же, сделай...».

Драматург показал:

— Он играл во всех моих пьесах. И она пришла ко мне, чтобы я написал теперь пьесу о нем. Об ослепшем артисте.

Единственную, в которой он мог бы отныне играть. Себя самого...

«Это спасет его,— молила она.— Он сможет по-прежнему жить. Представляете вы, сколько бешенства, сколько счастья забьется в этих спектаклях! Представляете, что будет в зрительном зале! Я умоляю вас... Вы же знаете его, знаете, что он не может без этого... Он сейчас Колумб без Америки, мать без детей, солдат без оружия, не знаю, с чем еще можно сравнить... Верните его к жизни, верните!»

Драматург не написал этой пьесы. Говорил, что пытался, не смог...

— То ли не достало таланта, — рассказывал он, — то ли не верил, что решится театр...

«Родная моя девочка! — писала она дочери перед судом.— Мы долго-долго теперь не увидимся. И это хорошо, что будем не вместе. Ты не могла бы смотреть на меня, отнявшей у тебя нашего папку... Нужно время, чтобы ты поняла. Поняла, что сделала это я для него и, делая, знала, что осиротею больше, чем вы, мои бедные.

Я прожила с твоим папочкой годы, какие выпадают немногим. Если бы женщины моего возраста — все мои знакомые женщины—могли сейчас снова выбирать себе мужа, лишь редкая выбрала б нынешнего, каждая искала бы кого-то другого. А я не задумывалась бы. Никто, кроме нашего папки, не был и не будет мне нужен. Мы были вместе почти двадцать лет, и моя молодость могла длиться с ним еще столько же... Но когда ты сама станешь женщиной и тебе, молю бога, выпадет такое же редкое счастье, как матери, ты почувствуешь, почему оно на нее наложило страшную и святую обязанность...»

— Вы исподтишка дали яд, — сказал следовательно, раздраженный бессилием понять эту женщину. — Обманным путем доставали его. Примешали к лекарству... Значит,

обдумывали это убийство и боялись ответственности.

— Боялась другого, — сказала она. — Чтобы во мне не ослабела решимость...

В суд она идти отказалась. За нею пришли начальник тюрьмы, конвоиры, но она не вышла из камеры.

— Мне все равно, что там будет...

Прокурор в своей речи сказал, что отравление — самый трусливый и низкий способ убийства. Тем более, когда он обращен был к беспомощному...

Защитник рассказывал, что убитый предпочитал всем драматургам Шекспира. Ему была по натуре эта бесконечная смена времен, декораций. Жизнь без них была бы для такого человека невыносима. Он лишь потому не обрывал ее сам, что для этого требовалось именно то, чего не было, — зрение... Он ждал помощи, решимости, поддержки, — да, поддержки — жены... Из любви выросла железная женщина.

В реплике прокурор назвал мотив преступления беллетристичкой, которую надо отбросить. Он попросил занести в протокол слова адвоката, возведшие преступную волю чуть ли не в доблесть.

Защитник ответил, что решение, которое забудет мотив преступления, будет расправой, а не приговором. Он попросил занести в протокол искажение его слов прокурором.

И вот она третий год в колонии. Я знаю о ней через общих знакомых. Знаю, что это теперь совсем не та женщина, которой любовались в Крыму. Седой клочок в волосах появился у нее еще в пору, когда ни к чему не привели операции мужж, лицо поблекло потом, а распухшие синие руки обморожены были навалке сосны... Адвокату удавалось пробиться к ней, но она не разрешала ему подавать куда-либо жалобы, а детям запретила слать ей посылки. Разрывающиеся противоречивыми чувствами, те

пишут ей скудно, сообщая о себе лишь немного. Сын стал телефонным монтером и поступил в институт на вечернее, дочь кончает десятый. Адрес у них изменился — из большой барской квартиры они переехали в маленькую, в новый район, получив за это приплату. Но на нее не удалось поставить отцу тот монументальный памятник из гранита и мрамора, которого мать неустанно требовала во всех ее письмах. Она нетерпеливо ждала, чтобы они получили для этого ее гонорар, а дети не решались поведать ей, что денег этих нет и не будет, что набор ее книги рассыпан, так как авторов, находящихся в колонии, не издают... Они могли лишь заверить ее, что ничто из архивов отца при переезде не затерялось: мать за этот архив волновалась, собираясь впоследствии написать свою последнюю книгу — книгу о великом артисте... «Я не могу, — писала она, — взять свой поступок назад. И повторила бы его, если бы он не удался... Слепота была не для него. Он от нее задыхался... А себя я оставила совершенно расчетливо... Не потому, что не поднялись еще на ноги вы, мои бесконечно любимые, а для того, чтобы продлить его жизнь. Он всегда жаждал славы. Всегда тайно мечтал о посмертной... А я все равно умерла. Вам это, деточки, сейчас не понять, но мы все умираем со смертью того, кто знал нас молодыми, знал все потаенное наше, делил его с нами. Без него нет и нас... Есть дети его, он есть в моих детях, но дети не он»...

И вот я пришел к тебе с этими строчками, с рассказом об этой удивительной женщине. Ведь у тебя много влияния.

— Преступники, — говорил я, — это, так сказать, экскременты общества, строя, народа. Бессмыслица — держать ее среди них.

— Она тоже преступница, — возразил ты резонно, — где доказательства, что муж сам хотел быть отравленным? Почему она не подумала взять от него... ну, скажем... ну, какую-нибудь форму свидетельства? Но и в этом случае у нее все равно бы не было права выполнять просьбу человека, который находился в

смятении, был, по существу, не в себе...

— Ты рассуждаешь о праве, а она это ощущала как долг. И она лучше, чем мы с тобой, знала, смятение это или что-то другое.

— Ерунда. Со слепотою сживаются. Время смягчило бы.

— Время ничего не смягчило бы.

— Много слепых великолепно живут себе, работают, радуются.

— Клеют конверты? Приучаются к автоматическим движениям рук?

— Почему только движения рук? «Илиада» и «Одиссея» — плод автоматики? А их, как известно, слепой написал.

— Их вообще неизвестно, кто написал. Это легенда.

— А масса слепых музыкантов — легенда? Прикованный к постели писатель — легенда?

— Постель не зрительный зал.

— Не будем пререкаться. Пусть он сцены лишился, но почему должен был и жизни лишаться! Мог слушать радио, жена и дети могли бы читать ему вслух... В общем, от нее зависело сделать ему жизнь переносимей, терпимей... Сколько есть жен-поводырей, сестер милосердия!

— Но ведь она не оттого это сделала, что не хотела стать сестрой милосердия!

— Ах, с благостной целью?! Но пойми наконец...

— И ты тоже пойми наконец. Я ведь ее не оправдываю. Я только говорю, что там, где нет злого умысла...

— Но есть злой результат!

— Не перебивай, я прошу тебя. Я хочу сказать, что раз нет злой воли, нет социальной опасности, раз мы знаем, что она никого больше никогда не убьет...

— Но убила!

— Если бы не убила, то мы бы и не говорили о ней. Но я спрашиваю: разве ей место среди прочих убийц?! Те тупы, жестоки или хитры, корыстны, коварны...

— А эта добра, умна, утонченна. Какие назовешь еще прилагательные? И в какое заведение ее поместить? Ни у нас, ни в других странах мира еще ничего не придумано для убийц с благородными умыслами. Эти люди находчивей законодателей, знающих только старые способы. Или, может быть, попросту выпустить? За личное обаяние и осведомленность в истории Крыма?!

— Чувствую,—сказал я возможно спокойнее, — отчего у тебя эта

раздраженность, язвительность. Ты сам хорошо понимаешь, что этой женщине нечего делать там... Хорошо представляешь себе обстановку... Воровской язык, скотство, нары, мороз...

Ты помолчал, потом сказал, потускнев:

— Да, ей нечего делать там. Но не может она находиться не там. Не вижу пути, чтобы она находилась не там...

— Идите чай пить, — вошла в кабинет Наталья Сергеевна.—У нас Тоня сидит, о Риме рассказывает. Или у вас деловой разговор? Тогда я велю сюда принести вам. Сегодня такой яблочный торт получился! Прямо воздушный! Ну, выйдите хоть на десять минут, а то просто неловко...

— Да, да, конечно, — сказал ты, обрадовавшись, и поволок меня к Тоне и торту.

Недалекая, но зато нежеманная женщина безыскусственно рассказывала за чайным столом не о Риме, а о том, что она в Риме заметила. Это были розовые, лиловые, желтые, вообще яркие платья, декольте на спине, тяжелые висячие серьги, малюсенькие шляпки без всяких полей, склад старых роялей,

продававшихся прямо на улице почти за бесценок, потому что они теперь всюду магнитофонами вытеснены, и ресторан, в котором кельнеры передают заказы на кухню по радио. Искренним или деланным было твое любопытство к ее болтовне, но ты не возвратился со мной в кабинет...

В нем вольнодумная библиотека, в твоём кабинете. И когда-то книги учили тебя. В ту пору, когда ты был порывист, решителен, не избегал слышать о судьбах, способных волновать, заставлять бегать и действовать. Тогда у тебя не были такие широкие плечи, такой отчеканенный подбородок, такой ковер на полу...

А может быть, зря я сейчас о тебе так недобро? Может быть, женщине, которую я видел в Крыму, впрямь следует сейчас оставаться в бараке? И, может быть, именно книги, тысячи продуманных тобой за десятилетия книг, мешают теперь проявлять храбрость невежества и отказываться от заведенного истари, от мерок, вместо которых еще ничего не придумано? Ни у нас, ни в других странах мира. Опыт и знания учат, наверное, склоняться перед силою факта...

И я тоже стараюсь излечиться от мыслей о женщине на лагерных нарах, слушая рассказы о женщинах в светящихся платьях...

— Нет, нет, в них не лампочки скрыты, — я по наивности тоже сначала подумала это, а просто нейлон такой. Его нужно часик на солнце или перед каким-нибудь другим сильным светом держать, зарядить этим светом, и тогда он потом... ну, этого не передать, это нужно видеть самой...

На освещенной улице он, правда, теряется, но в парках, в затемненных местах... Это удивительно, прямо-таки удивительно...

Я соглашаюсь, что удивительно. И заедаю мысли о лагерной женщине яблочным тортом.

Глава 3. В семью входит плебей

Сначала худенькая милая девочка. Как у мальчишки, выдавались лопатки, смешно торчали косички, но глаза уже тогда обещали стать необычными.

Потом фигурка выравнивалась, а глаза начали дивить, озадачивать. На них посматривали в метро и в автобусах. С нею происходило такое же, как в «Илиаде» с ее сказочной тезкой. Там старцы при виде Елены, замолкая, вставали. В Леночке сказались, наверное, гены от мифической ее прародительницы. От нее же передалась и осанка. И только безразличие к таким божьим дарам было своим.

Ее даже раздражала эта особенность, отличавшая ее от подруг и мешавшая ей быть как все. «Дураки,— искренне возмущалась она,— ну чего они на меня пялят глаза? Просто жить невозможно, когда тебя все время осматривают».

Всем девушкам присуще желание нравиться, а у нее, еще подростком уставшей от общего внимания улицы, такого желания быть не могло. Напрасно Наталья Сергеевна заботилась о ее гардеробе — дочь была совершенно равнодушна к нему. Не надевала бриллиантиков, приобретенных матерью в послевоенной Германии, когда их можно было выменивать на сало и кофе, не разглядывала журналов с картинками мод, не выносила примерок. Не потому, чтобы влекли ее интересы иные и высшие, а оттого, что еще не было женских.

Даже уже в восьмом и девятом, когда подруги поднимали себе каблук и взбивали прически, ее не тянуло отказываться от облика школьницы. Заставал я ее обычно в форменном платье или домашнем халатике, с чернилами на тоненьких пальцах, в тревоге за урок или за предстоящую четверть. Училась она средне—искупая тройки по алгебре пятерками за сочинения. В них обнаруживались и неожиданная ширь словаря, несхожего со скучным языком в разговорах с братом и матерью, и даже ширь

сибирских пространств, по которым она вечерами частенько блуждала с тобой.

Спала она в одной комнате с братом, а уроки готовила в твоём кабинете, где для неё под торшером устроен был свой уголок. Вы не мешали друг другу. Наоборот. Тебе лучше работалось, когда ты мог поглядывать на сосредоточенное личико дочки, а ей — оттого, что всегда могла тебя о чём-то спросить.

А расспросы бывали о многом. Дочь хотела услышать, чем великий писатель отличается от невеликого, почему на свете прибавилось знаний, но не прибавилось мира, как выглядел Хамардабан (ты чувствовал, что ей нравилось самое слово), как жили при Сталине, почему при капитализме бунтуют, а платья и туфли там дешевле, чем в нашей стране, не начнут ли китайцы войну, когда у них будет столько же бомб, как у нас, и как месил ты тесто в кадушке, когда твоя мама пекла хлеб за припек... Иногда, пряча под абажуром лицо, она спрашивала, отчего ты разошелся с твоей первой женой, и предлагала повезти её летом не в Крым и не в Гагры, а в твои родные места. В ней чувствовалось любопытство к полужнакомой сестре своей, родившейся на целых двенадцать лет раньше, к племянницам, жившим в совсем другом мире, к твоей юности, к мыслям твоим... Когда я приходил к вам и мы в разговоре вспоминали иногда тот или иной эпизод нашей молодости, она старалась стать неприметной и побольше услышать. Её чудесные глазки делались радостными, когда она узнавала, что ты любил говорить бурятское «сайн байнуу» вместо обыкновенного «здравствуйте», дарил смазливym девочкам перед экзаменами бронзовые фигурки божков, выкрал у одного гада в гардеробе ключ из кармана пальто и положил его назад, подточив, чтобы тот не мог потом открыть свою дверь... Она приходила от этих историй в восторг и бросалась тебя целовать.

Ты любил эту девочку несравнимо нежнее, острее, чем

некогда свою первую дочь. И глубже, чем сына. В Сергее ты ценил способности к технике, но знал, что устройство моторов занимает его куда больше, чем устройство белого света, и тебе подчас не о чем было с ним говорить... Книг из твоих шкафов он никогда в руки не брал, социальные науки считал просто бестолочью, газет не смотрел, при разговорах о мировых проблемах молчал и поканчивал иногда со своей вежливой скукой словами: «Э, не все ли равно, куда идем и что будет!» А дочь была близка тебе внутренне, сделалась твоей наибольшей привязанностью.

Ты досадовал, что материальными благами дети пользовались сугубо не поровну. Сергей проводил почти все время вне дома, и ему всегда нужны были деньги, а Леночка брала только полтинники на билеты в кино, никогда ничего не просила да и питалась хуже, чем все. Вкусы у нее были простыми, к кулинарным изобретениям матери она мало притрагивалась и любила больше всего печеную картошечку с маслом. Когда она заявляла, что хочет чего-нибудь вкусенького, то оно сводилось обычно к одному и тому же — насыпала в чашку толченых сухарей с сахарной пудрой и, готовя уроки, опрокидывала в себя понемножечку эту нехитрую смесь. Порошок этот не приедался ей. «Ну, что вы! — объяснила она мне однажды. — Разве можно сравнить с шоколадом! Тот вазелинистый, мазкий, а тут хрустко, приятненько». Ездить на лето она предпочитала не с матерью и не на юг, а в пионерский лагерь вожатой. Пляжующиеся женщины, показ тел и купальников, праздные толпы и всюду чуемое веяние секса претили ей. А с детьми она чувствовала себя в своей сфере, и ей, видимо, нравились обязанности, дело, ответственность.

Такой я знал Леночку, когда вдруг неожиданно...

Кто мог бы подумать!

— Боже мой! Боже мой! — ломала себе руки Наталья Сергеевна. — И ты тоже за короткий срок пожелтел, будто

пережил болезнь Боткина.

Стекляшечка. Палочка в два сантиметра. Белиберда. Ей три копейки цена. И она оказалась судьбой...

Не перегори эта палочка, ничего не случилось бы...

Или приди не этот монтер...

Наталья Сергеевна сама его вызвала. Заехала в ателье по дороге на рынок и попросила прислать. Леночка возвратилась из школы, а через пять минут и звонок...

— Ничего не произошло, — сказал он. — Это предохранитель. Видите вот...

Сменил палочку, и экран засветился. И засветились отчего-то у обоих глаза...

— Нате, — дал он ей в запас горстку палочек и стал учить, как вправлять.

Она стала вынимать и вставлять, вынимать и вставлять...

А он стоял возле, улыбавшийся широкоплечий мальчишка, — стоял, открыто любуясь ею, и ей впервые не было от этого тошно... И она вдруг залюбовалась сама — его открытым лицом, глазами, звавшими к смеху...

— Вы на какой ходите? — спросил он, увидев в передней коньки. — В Парк культуры?

— Угу, — сказала она.

— После обеда?

— В семь. Как приготовлю уроки...

Леночка стала кататься не по льду, а на счастливающих волнах. И пусто стало у тебя в кабинете...

А было это перед выпускными экзаменами...

Ты не узнавал своей дочери. Стал нервничать, размышлять,

толковать вечерами с волновавшейся матерью и продумал большой разговор.

— Мне хорошо с ним, — коротко отвечала она.

Наталья Сергеевна изловила его в ателье, вывела для внушительной беседы на улицу и холодно-сдержанно просила не видаться с дочерью, пока у той подготовка к экзаменам. Он слушал, потупясь, долго молчал, потом сказал: «Да, это вы правильно», — и, беспомощно улыбнувшись, ушел.

Каток был заброшен. Придя из школы, Леночка уже не выходила на улицу. Занималась до двух-трех часов ночи.

Ты уже стал успокаиваться, когда монтер оказался вдруг... на выпускном балу в школе. И Леночка танцевала лишь с ним... А перед торжеством, затеянным матерью дома, предупредила: «Если не должно быть его, не устраивай»...

В черном костюме, модных туфлях, с продуманным галстуком, рослый и ладный, он внешне не отличался от молодежи, набившейся в тот вечер в твой дом. Доброглазый, улыбчатый и державшийся, видать, начеку, чтобы не допустить в этом доме оплошку, он был даже приятнее иных Леночкиных шумливых соклассников. Но эта смущенность проистекала еще из того, что не все разговоры он мог поддерживать. И когда горячо обсуждалось, кто куда теперь бумаги подаст, он мрачнел...

Через несколько дней после этого вечера ты говорил с ним как мужчина с мужчиной. Объяснял, что дочери надо готовиться к трудным вступительным и ее надо оставить в покое... Он хмуро молчал и опять обещал...

Но воспротивилась Леночка. Заявила, что с институтом она подождет, устроится куда-нибудь на год работать, никуда не уедет на лето из города и будет готовить в школу рабочей молодежи его.

— Его?! — вскричал ты.—Из головы его выбрось! Ему двадцать один, а окончил семь классов! Не умеет двух слов связать! Отец — простой слесарь. Да знаешь ли, что тебе предстояло бы, если бы я допустил это?! Все слесари — алкоголики. Это наследственно. Он бы пропивал все получки и бил тебя! Ты побежала бы через год разводиться!.. Я не допущу чтобы ты больше виделась с ним. Не допущу!

— Ты не в себе, папа, — отвечала она и вышла из комнаты.

Мать забирала ее к себе в кровать, прижималась к ней, увещевала, измачивала пододеяльник слезами.

— Доченька... красавица моя. Да тебе же и восемнадцати нет. Ведь вся жизнь впереди... Стольких встретишь еще... Ведь сама знаешь, нет молодого человека, нету семьи, которые не посчитали бы счастьем. А тут... Ведь вы разные, пойми, совсем разные... Вот ты любишь читать, а он, наверное, бутылку, гармошку... Где это слыхано, чтобы жена мужа в школу готовила! Да он и не станет учиться. Если хотел бы, давно мог бы сам. Сколько парней и работают, и заочно, и всяко... Ведь ты у меня единственная, и во всей Москве ты такая единственная, разве такой судьбы ты заслуживаешь?.. Это пройдет, поверь мне, пройдет... Ну что ты нашла в нем? Чем он вскружил тебе голову?

— Не знаю, мамочка, — отвечала дочь, стараясь честно вздуматься в это. — Он самый хороший... Мне нравятся его глаза, его волосы, кожа, он весь... Знаешь, мамочка... даже запах его...

Это был страшный ответ. Мать по-бабьи заплакала.

Я перебею свой рассказ. Возвращусь потом к истории этого брака, а сейчас скажу лишь, что, встретив Леночку в прошлом году, не знал, куда мне глаза девать. Она уже мать, живет своим счастьем, и мне муторно было подумать, что ей могут быть ведомы пакости, в которые ты вовлекал меня, чтобы

предотвратить это счастье...

А что должен ты сейчас чувствовать сам?!

Сергей, называвший сестру идиоткой и пытавшийся использовать подкуп, чтобы не иметь дворового слесаря родственником, зовет теперь Виктора чинить вместе машину покровительственно похлопывает его по плечу, неподдельно дивится, как тот одолел трехгодичный курс за полсрока, и не гнушается заезжать к новому родственнику на другой конец города, чтобы перехватить из его тощей полочки десятку... Наталья Сергеевна после появления внука примирилась со вторжением в ее семью рагвену, возит дочери яства и, убеждаясь, что брак ее прочен, передает понемножку баккара, серебро, которыми Леночка лишь тяготится, так как они ей не нужны и ее кооперативная квартирка тесна. Перед гостями своими Наталья Сергеевна хвастается, что ее зять на все руки, и привирает ему третий курс института, хотя он лишь нынче поступил на первый заочного... И только у тебя одного нашлось мужество попросить однажды у дочери и зятя прощения...

Было за что!

Молодые доставляют вам праздники, привозя изредка внука по выходным, но не приезжают вечерами, когда у вас собираются. Так лучше для них и для вас. И для кое-кого из гостей. Например, для Николая Ивановича. Ведь это он, занимая какой-то хозяйственный пост, вызывал к себе подчиненных и через много каналов просил сделать так, чтобы монтер Виктор Ряшин послан был на уборку картофеля... А Георгий Игнатьевич?! Ведь именно он устраивал Виктору каверзу, пытаясь отправить его по комсомольской путевке за тысячи верст от Москвы...

Боже, что вы творили, чтобы не допустить брака дочери!

Даже состязаясь на конкурс, никто не сумел бы придумывать большего. И подчас более глупого...

— Есть у тебя кто-нибудь на телевидении? — звонил ты мне во втором часу ночи.

— Кто-нибудь, да... Наверное... Надо припомнить...

— Ты утром дома? Я заеду к тебе...

И, заезжая, просил найти через моих приятелей ходы для перевода Виктора Ряшина на работу, связанную с монтажом оборудования, с разъездами по Якутии, по Красноярскому краю... Я брел к режиссерам на студию, но они понятия не имели о людях, развертывающих телевизионную сеть, начинали справляться, звонить, искать у знакомых знакомых...

— Это паллиатив, — сказал ты после угона Виктора на уборку картофеля, — только на месяц, но все же...

Не вышло, однако, и месяца. Вышло хуже, неожиданней — Леночка тоже исчезла! Собралась, когда мамы не было дома, оставила записку, адрес, и все! Колхоз был неподалеку от Москвы, и вы туда съездили. Застали дочь в поле... В кирзовых сапогах и косыночке, чуть похудевшая, с обветренным лицом и огрубевшими пальцами, она все же явно поздоровела на воздухе и одно за другим подтаскивала тяжелые ведра к буртам. Девушек было тут много. Они копали картошку, сгребали ее, бросали лопатами на грузовики, на возы. Леночка не смутилась вашим приездом, сказала: «Я так и думала», а когда вы оглядывались, не решаясь спросить, усмехнулась и объяснила, что Виктор бригадирствует со вчерашнего дня на соседнем участке...

Вы пробыли в деревне до вечера, наблюдали, как дочь с аппетитом поедала пшенку из миски, с тихим ужасом щупали подстилку из соломы и сена, на которой девушки спали, и не знали, что тут сказать...

— А спина, доченька, как спина? — мучилась Наталья Сергеевна.

— Сначала не могла разогнуть,— не стала Лена щадить вас,— теперь разгибаю.

Вы уехали, не спрашивая друг друга о том, чего добились и зачем это нужно было...

— Хотите предупредить мезальянс? — шутовски спросил вас однажды Сергей. — Поручите это мне. Присовокупите двести рублей. Съезжу к этому слесарю... Девяносто шансов из ста!

Виктор жил с родителями и младшей сестрой в большом доме нового городского района. Сергей подсадовал, когда оказалось, что квартира у них не в подвале, но успокоился, увидев, что она однокомнатная. Дома оказалась лишь девочка, разогревавшая себе на газе котлету.

— Мама не пришла еще с фабрики, а папа в котельной, — сказала она, удивленно оглядывая франтоватого парня, пришедшего к ним не за слесарем.

В котельной трое мужчин пили водку, закусывая ее хлебом и луком. Сергей угадал, кто из них Ряшин, сказал, что есть к нему разговор, и сделал глазами движение, приглашавшее выйти на улицу.

—■ А у меня тут нету секретов, — ответил тот, не проявив любопытства. — Что плотник, что электрик, что я — склад у нас общий. Вам чего-нибудь с подпола надо? Так говорите при них. Все одно распивать будем вместе.

Узнав, что разговор все же личный, он нехотя вышел, но не повел Сергея домой, а остался стоять на крыльце. Это никак не располагало к беседе, тем паче что дождь моросил, а слесарь нетерпеливо спрашивал: «Ну?» Подготовленная Сергеем завязка беседы вылетела из головы, и он стал говорить сбивчиво, путано...

У слесаря раскрылся сначала от изумления рот, но он этой

речи не перебил. Не хотел облегчать Сергею задачи... А когда тот неуклюже закончил, слесарь раздумчиво, но равнодушно сказал:

— Не знал я. о Витьке... Видим с матерью, что он девчонку завел, а такого не знал. Не жениться ему надо, дураку, а учиться. Иначе тоже бутылками кончит... И не лезть в семью, где его не хотят...

Потом посмотрел на «Волгу», оставленную Сергеем в полупустынном дворе, и прищурил глаза на своего собеседника:

—, Это ваша машина? Так... Готовы, значит, расходы нести, чтобы Витьку куда-нибудь в путешествие... Правильно, правильно. И сколько же вы предположили затратить?

Сергей неуверенно вытащил пачечку.

— Не пойдет! — взглянул на нее слесарь небрежно. — Уж если деньги— так деньги. Давайте мильен. Меньше мильена я не возьму.

Сергей круто повернулся и пошел твердым шагом к машине.

— Чего это вы? — догнал его слесарь. — Приехали торговаться со мной, а бежите. Я уступлю. Я могу и другие условия. Сколько тут десятков у вас?

— Двадцать, — сказал Сергей, — но я ни одной вам не дам. Вы не тот человек... Разговоры бесцельны.

— Почему же бесцельны? Если договоримся, так не будут бесцельны. А договоримся мы вот как... Вы сказали, тут двадцать? Я их возьму и за каждую дам вам по морде. Согласны?

К чести Сергея надо добавить, что он, сам над собою подтрунивая, точно пересказал вам эту беседу, не умаляя своего поражения.

Такой же безуспешной была ваша затея сплавить Виктора на

целину. Ты хорошо сознавал, что нынче уже не пятидесятые годы, что туда не мобилизуют теперь, но искал такой возможности, почти уж добился ее и... сам же отбой забил, поняв, что выгонишь в далекие степи и дочь...

А вспомни самое стыдное — разговор на скамейке бульвара. Ты намеренно назначил его именно там, а не в кафе и не дома где он поневоле велся бы более сдержанно. А тут ты мог язвить, оскорблять, бить побольней... Виктор ничего тебе не ответил, встал и ушел... Потом ты простить не мог Георгию Павловичу, присоветовавшему тебе такой путь. Грустно иронизировал, что родители подобны правительствам и призывы к бешенству имеют у них всегда больший успех, чем призывы вдуматься, понять, примириться...

А период, который после сцены на бульваре последовал! Долгий период... Молчание в доме. Прежде приветливое личико дочери холодно, жестко. Ее глаза теряют лучистость. Иногда они вдруг дичают, в них сверкает решимость. В твой кабинет она уже не заходит, сидит в своей комнате, и ты прислушиваешься к каждому шороху... Иногда ей звонят, но это подруги. Разговаривает с ними как-то отрешенно от них, от вчерашней их общности. В мире происходят большие события, люди озабочены ими, в умах идут споры, ты намеренно наполняешь квартиру радишумом, чтобы обратить дочь к действительности, но действительность ей сейчас безразлична, борьба идей теперь не занимает ее, взаимные заушения обоих миров она просто не слушает... С Севера приезжает брат Наталья Сергеевны, он геолог, открывающий нефть, — Лена чуть-чуть оживляется, о чем-то шепчется с дядей, и ты чуешь — спрашивает, возьмет ли он к себе в экспедицию ее и еще одного... «Маленькие дети топчут родителям ноги, большие — сердце», — жалуется брату Наталья Сергеевна афоризмом всех матерей и плачет при этом. Разубедившись в силе влияния прямого, родительского, она пытается прибегнуть к влиянию

вкрадчивому, и дядя соглашается уговаривать Лену идти на филологический факультет МГУ. «У тебя же способности к этому. Ты же любишь и умеешь писать». «Ну и что из того? — отвечает она. — В литературе и без меня много девиц, которые не могут что-нибудь делать в другом месте». Дядя уезжает, и Лена снова не выходит в столовую. Иногда исчезает куда-то. Но не на встречи. Встретиться ей, видимо, не удастся. После разговора на бульварной скамейке... Тем злее она все что-то пишет, бегает к почтовому ящику... Сергей острит:

— Вот тебе, папочка, и цена философии! Перегорел предохранитель— и ты лишаешься дочери. Все учение о закономерности к черту! Жизнь определяется случаем. Даже роком. Честное слово. Ведь вышло все просто фатально. Предохранитель в телевизор для того и вставляется, чтобы убавлять силу тока, предотвращать замыкание, не допускать перекала. А он перегорел, видишь, сам! Ну, разве не перст?! И ничего, значит, с Ленкой не сделаешь. Или вези ее за рубеж, заключи там в какой-нибудь монастырь, или играй с дворником свадьбу. А то ведь она молчит-молчит да и махнет с ним куда-нибудь. Увидишь, махнет!

И свадьба состоялась. Но о такой ли ты мог думать для дочери! Та, другая, происходила бы в «Праге», и не в один, а в три тура... А эта свадьба скорее походила на тризну. И на ней бумерангом отозвалось унижение, которому вы подвергали семью жениха. Теперь слесарь ни за что не хотел переступить ваш порог, и тебе с Натальей Сергеевной пришлось ездить за ним, уговаривать... Был очень узкий круг приглашенных— только самые близкие. Пили на этой свадьбе намеренно много, чтобы спиртом глушить безрадостность радости и краткость стыдливых тостов. Потом слесарь, напившись, плясал, потом плакал, и так попеременно... Ты тоже не справлялся со спазмами в горле, не умея отгонять их и плясом.

На жене твоей вся эта эпопея так отразилась, что она не

скоро в себя пришла, долго искала себе потом косметичку и вынуждена теперь перед приемом гостей делать себе кожу для них, как другие делают ее себе на несколько часов для любовника. Но жизнь постепенно вошла в колею, и протокол ваших отношений со сватами установился, наладился. По праздникам вы ездите к ним и принимаете их у себя — разумеется, в семейном кругу. Но слесарь и не стремится сделать родственные связи тесней...

Я не мог не вписать этой главы...

Но пиши я ее для сценария—сделал бы это иначе.

В кино есть прием затемнения. Им показывают не то, что происходит во вне, а проносящееся в уме и видениях. Во мраке экрана возникла бы лента какой-то незнакомой дороги. На ней по брюхо увязали бы лошади и застревали мертвые цепочки телег с характерными ящиками чая Высоцкого. Потом показались бы неясные очертания мужика с бородой. Он брал бы лошадей под уздцы, и лошади дернулись бы. Он выволакивал бы телеги, и телеги задвигались бы... Это был твой дед, живший на кяхтинском тракте и питавшийся тем, что вытаскивал из грязи обозы...

В кино есть другой прием — перехода к новым кадрам через предмет, через вещь. Ею могла бы служить борода. Она приросла бы к другому лицу. Ссылного поляка, занимавшегося изучением озера. При нем был парень, измерявший глубины воды, наблюдавший приливы, отливы. Парень неотесан, он с тракта, он смешно разговаривает, ему легче весло и руль смастерить, чем делать заметки, расчеты, и поляк вечерами учит его премудростям записей... Пронесются годы (примитивный показ на экране — отсчет календарных листков), парень сам уже с бородой, селится в городе, ему нужно вручить об этом прошение самому губернатору, нужно надеть для этого

высокий, туго накрахмаленный, твердый воротничок, он силится сделать это, не может, идет к губернатору в косоворотке, его не пускают... И хотя он давно уже разные книжки читал, в «хороших домах» его дальше передних не пускали потом во всю жизнь. Это был твой отец...

В кино есть третий прием — показа прошлых времен посредством умерших с этими временами вещей. На экране мелькнули бы русская печь, расшатанные венские стулья, потом грубая железная койка, на которую парень смущенно укладывает молодую, из других миров завлеченную женщину. Этим парнем был ты...

В кино есть четвертый прием — для показа общности судеб разным людям дают одно и то же лицо. На экране ты мог бы заполучить вдруг лицо твоего первого тестя. Его лицо в те часы, когда он узнал, что не ты обладатель квартиры, и рвался развести с тобой дочь. Ты оказался бы двойником, эпигоном кого-то, забытого на Ваганьковском кладбище...

Тот никогда не мог думать, что его дочь выйдет за человека, который... И ты тоже никогда не мог думать, что твоя дочь выйдет за человека, который...

О, ты, конечно, объяснял это Леночке не разностью ступеней на общественной лестнице! Ты объяснял это разностью интересов, образования, вкусов. Объяснял, безусловно, правдиво. Но только... правда объяснений не требует, в них нуждается обычно неправда.

Как же это так получилось, что ты, потомок плебеев, гнушался родниться с плебейством? Почему скрывается у вас это родство, словно судимость какая-то?..

Эх, земляк мой, сокурсник и сверстник! Многое сделалось на свете другим, и все-таки все повторяется... Ты был ничто, а стал нечто и не хочешь в своей семье человека, пока он сегодня ничто... Полюбив, ты взял девушку, обмишулив отца, а став

отцом, боролся с непоправимой влюбленностью парня, совсем не пытавшегося выдавать себя не за того, кем он был. Тебя всегда отвращал застой мыслей, а все доводы против решения дочери ты переволакивал из прошлых эпох. Ты воевал за права человека, а все твои действия попирали человеческое достоинство слесаря из опаски уронить свое собственное, понимаемое тобой ныне иначе, чем расценивали мы это в иные года...

Эх, земляк мой, сокурсник и сверстник!

Глава 4. Петька и мировая политика

Как его выручить?

Что сделать для этого парня, попавшего в злую беду?

— Попавшего? Нет, навлекшего ее на себя!—отвечают мне в учреждениях, к которым я обращаюсь. — И подумайте, тот ли он человек, за которого следовало бы вам заступаться...

Тот ли? А вот поездили бы тогда тем же трамваем и поняли бы.

— Граждане, этот вагон последний раз в жизни ведет Степан Афанасьевич! Граждане, он вас возил тридцать семь лет. С ним вы никогда никуда не опаздывали. Он провел свою жизнь, не зная ЧП...

Люди на остановках выходили, входили — тысячи разных людей на многокилометровом маршруте, — и звучный молодой баритон заставлял их слушать себя.

— Товарищи пассажиры! Наш трамвайный парк провожает на пенсию старейшего из наших водителей. Это сейчас его последняя ездка. Пожелайте ему в своих мыслях, чтобы еще долгие годы...

В микрофон лились не затверженные, а душевные и простые слова. В них было что-то торжественно-трогательное. Я поймал несколько недоумевающих взглядов, но большинство людей

поддавалось призыву, хотя он казался не слишком уместным в толчее, в многолюдье, в движении. Он усиливал давку и создавал заторы у выхода, потому что каждый невольно заглядывал в кабину водителя и кричал ему что-то приветственное.

У светофора на площади вагон поджидал какой-то трамвайный начальник.

— Вылазь! — крикнул он баритону, сидевшему рядом с водителем. — Смотри, что ты делаешь! Не забереешься — не вытряхнешься. Сию же минуту вылазь!

— Убери, убери его! — поддержал взволнованный общим вниманием, не привыкший к рекламе старик. — Нет с ним, оратором, сладу. Подведет меня в последний мой день...

Но тут же в вагон заскочили две девушки из трамвайного парка с цветами, с какой-то коробкой. Они стали высаживать того, кто высаживал. Если бы не долголетняя собранность сидевшего за рулем человека, все движение неизбежно застопорилось бы...

Я доехал этим редкостным рейсом до конечной его остановки. Баритон рассказал по пути еще много разных вещей. О заводах, мимо которых пролегает маршрут. Об истории улиц, по которым возил Степан Афанасьевич. О характере его, о семье. О руке, о слухе и глазе, нужных водителю. А когда к концу рейса в вагоне оставалось уже мало народа, разошедшийся парень сообщил нам еще, что Степан Афанасьевич держит павлинов, которых ни у кого в Москве больше нет, и они страсть какие красивые...

Старик покинул вагон обозленным на своего неугомонного спутника, но встречен был в диспетчерской цветами, корзинкой вина, поцелуями и, растерянный, уже вовсе не знал, сердиться ли дальше, расплакаться ли... А я свел здесь знакомство с Петром. То самое, что доставляет теперь столько тревог за него,

столько горечи...

О, это совсем не образец добродетелей! Наоборот, скорее беспутный. Привлекают в нем доброта, смешиленость, общительность, но ничего он из своих достоинств не сделал, способностей своих не использовал, живет как попало. Слесарил в депо, окончил зачем-то курсы водителей, сейчас на распутье... Жил с матерью в хорошей квартирке, полученной после сноса их деревянного дома, а тем мать вышла замуж и переехала к мужу, радуясь, что и у сына будет очаг для семьи, а сын вместо этого... И хоть бы какие-нибудь подходящие девушки были, а то разводки — трамвайщицы или похотливые, уже в телесах, соседки по дому. А Петру всего двадцать три... Они приходят к нему с четвертинками, нажаривают котлеты, обстирывают... Недавно одна из них ввалилась в неурочное время, столкнулась с диспетчершей. Такой вышел скандал, что на лестничной площадке собрался народ, хотели бежать за милицией...

— Я после этого, — рассказывал Петя, — каждую предупреждаю: если рассчитываешь завести личную собственность, то ко мне не ходи, ходи в американскую прачечную. Там холостяков сколько хочешь, там подбери себе и устраивай жизнь.

— А почему ты свою не устроишь? — опросил я.

— Да ведь кто его знает, — пожал он плечами. — Я считаю, что в этом вопросе плановому хозяйству не место. Тут стихия должна быть, случай, встреча, судьба и так далее. Ну, а этого еще не подвернулось пока.

Ему многое не подвернулось пока. Например, книжки о том, как стихи писать. И когда узнал от меня, что этого по книжке не выучить, порвал пять исписанных школьных тетрадок и не стал шестой заводить...

Но его тянет куда-то. За город, во дворик с павлинами. К стеллажам в моей комнате, где рассматривает книжку за

книжкой и уходит потом молчаливый, смятенный. В кино, где в фильмах ему не хватает развязок, а когда они есть, то считает, что их не должно быть. В места, где он никогда не бывал и манящие своей новизной: на дипломатический прием, в Елоховский собор, в филармонию...

В рабочих общежитиях, где мне приходилось бывать, — газета «Футбол», молоко и колбасные шкурки. Книжки обнаруживаешь здесь о разведчиках и о токарных станках. У Петьки же всегда пироги (мать по субботам привозит прямо на противне), банки с вареньем (стараясь другие заботницы), альбом с литографиями польских художников, попавшийся на улице Горького и поразивший своею причудливостью, стопки раскрашенных еженедельных изданий, «Теркин», «Бежин луг» и... атлас стран Африки, известной ему лучше Европы. Но в рабочих общежитиях есть режим жизни и цели, а у Петьки ни того, ни другого. Он не знает даже, что сделает с собой после смены — ляжет ли спать, предстоит ли ему, наоборот, обниматься, или понесет его неожиданно в центр на городские огни. Не знает, кем в конце концов станет, чего желать для себя.

Вот его разговоры:

— Нет, в космос я не хочу, там пусто, там ничего... Мне бы какую-нибудь страну посмотреть.

— У нас вот пишут в газетах, какие дома надо строить. А почему совершенно не пишут про краску? Отчего ситники такие красивенькие, а дома — как депо? Дома должны быть сарафановыми.

— Знаете, какая самая страшная книжка из всех, что я брал у вас? Вот эта, об Индии... Как парням не дают брать воду из рек, не позволяют им мыться, есть хлеб, подходить к прочим людям ближе, чем на сто шагов... Это что же такое? Как же мы терпим? У нас все о неграх да о неграх, а тут... Вот за кого бы я воевать согласился! Прямо сегодня пошел бы... И париев этих

тоже по мордам бы хлестал. Почему они сносят? Зачем с этим мирятся?! Это ж коровы! Ну прямо коровы!

— Вы спрашиваете, отчего у меня мало товарищей. Нет, товарищей у меня все депо. Но только не вижу я интереса в поллитрах. Не тянет. Если бабы с собой не прихватят, сам никогда не куплю. И хоккей смотреть мне тоже удовольствия нет. Лучше на главный почтамт сходить. Я вот люблю иногда потолкаться там часик, посмотреть на людей, как они шлют телеграммы, берут до востребования. Очень это любопытно следить... Девчонка получит — сияет. У нее просто терпения нет, сейчас же бежит в уголок и проглатывает. Потом еще в метро изучает. Потом, наверное, и дома в уборной... А вот когда нету письма... Особенно, скажем, старушке... Посмотришь на нее — и самому тебе муторно делается... Я бы таких сыновей не растил, а давил...

— Техника, по-моему, идет не в ту сторону. Вот возьмем пылесос. Он же состояние стоит. А орудовать им — хуже нет. Бегемот, а не вещь. Почему бы не выдумать, чтоб без него? Чтобы пользовались люди, как водопроводом, канализацией, газом. Повернули какой-нибудь краник или включили бы кнопку — и вытянулась бы разом вся пыль.

— За что я в милиции был? Да так, за одного алкоголика... Двое суток держали... Сам виноват, был, конечно, но случись мне такое опять увидеть, я бы опять не стерпел... Затащили меня ребята в тот вечер в пивную. Ну, выпил я свои полтора ста и дальше отказываюсь. А публика вся кругом уже в космосе, на полу и так далее. А какой-то сволочь еще не свалился, считает, что, значит, зря деньги пропали, и снимает с себя, понимаете, китель. Разыскал коммерсанта, тот ставит за него двести грамм. Отцепляют медали и слаживают. Но он выпивает этот стакан и снова не падает. Для этого требуется дополнительно пиво. Вынимает он тогда из кармана медали отстегнутые... «Ставь, — говорит, — по бутылке за штуку». Коммерсант соглашается

только за две. Начинают они торговаться... За боевые медали!.. Я тогда подхожу—и р-раз одному по зубам, р-раз другому... Вот, собственно, все мое уголовное дело. Но в милиции оказалась одна молодежь и без всякого к медалям чувства понятия. Если бы не майор из управления города, прощай моя вольная жизнь!

— Почему не скоплю на новый костюм? Это вы правы, конечно... У нас ребята на кефире да булках, а уж брючки, носочки, нейлончики — это в первую очередь. А у меня как-то нет интереса... Сам не знаю, почему я такой. И куда деньги уходят, тоже не знаю. Обеды в депо у нас, правда, паршивые, но зато очень дешевые, и вообще мне питание недорого стоит, на женщин ничего не расходуя, потому что они того не заслуживают, галантерейные траты у меня только на мыло, а до полочки никогда не дотягиваешь... Ну, правда, ездил в прошлом году на праздники Таллин смотреть, нынче матери шаль купил к дню рождения... Но больше за эти два года ничего такого резкого не было... А расходятся неизвестно куда. То у кого-нибудь из ребят именины, то свадьба, то провожаем на пенсию, а то в прошлом месяце проходил по Арбату и зачем-то аквариум с рыбками взял. Теперь вот смотрю на них, изучаю... в полном, можно сказать, коммунизме живут. Безопасность с гарантией, потому что никто не сожрет, корма сыплю им вдоволь, нормы выработки никто с них не требует, денег не надо им, спи когда хочешь... Играются, валяют себе дурака, да и только... Но человек, между прочим, не мог бы так. Ни за что бы не мог. Помести его в такую роскошную жизнь — враз повесится или психом заделается.

— Профессию я к осени, между прочим, сменю. Надоело все по рельсам, по рельсам. Это для баб. Я шоферить уйду. Будет все ж таки какой ни есть, а размах.

— Як вам на этот раз не за жизнь говорить пришел, а по делу. Очень у меня нехорошая история вышла. Хотел сделать как лучше, а нажил врагов. Не знаю, как быть теперь. Хочу,

чтобы вы посоветовали... Есть у нас, понимаете, один мелкий гад. То есть гад-то он крупный, а начальничек мелкий. Но все же начальничек. И какие он токарю наряды запишет, по тем человек и получит. Я-то на линии и от него независимый, а для ремонтников он и маршал, и папа. И вот ребята заметили, что некоторым работы выпадают не пыльные, а полочки наваристые. Подпоили они в домашних условиях одного паренька, и он им под честное слово раскрылся. Признал, что начальничек этот одалживает у него раз в месяц-другой по двадцатке... Услышали ребята про эту историю, повозмущались, поматерили прохвоста и стали раздумывать, как им самим вступить в отношения... Один мой дружок обратился за советом ко мне. А я вместо этого иду в кабинетик начальника, выкладываю, что мне известно о нем, и предлагаю в двадцать четыре часа выметаться... «Поскольку,— сказал я ему,— у вас большая семья, большой стаж, большой возраст и прочее, я разоблачать вас до степени инфаркта не стану, но присутствия больше не потерплю...» И что же вы думаете? Он, негодяй, вместо того чтобы тихо принять ультиматум, начинает орать: как, мол, ты смеешь, наряды и ведомости у всех на глазах, я член комитетов, твоей клевете никто не поверит, я тебя за этот подкуп суду передам, покажу, как заслуженного человека порочить, как языком поганым трепать... И в ту же минуту устраивает мне очную ставку. Вызывает этого самого Ленку, и Ленка при мне: «Первый раз о вас слышу такое, никогда этой подлости никому не выдумывал». Вызывает следующим Витьку, и тот: «Никогда мне Ленка о вас ничего худого не сказывал...» Представляете мое положение?... И с того дня они со мною ни слова, и подлец теперь для них я... А прохвост этот потом мне на ходу: «Ты жалел мою старость, а мне жаль твою молодость, поэтому, так и быть, я замну, но в цех к нам дорогу забудь...» И вот вы скажите мне, что в таком положении делать? Вешаться? Драться? В комитеты идти?

Я подсказал тогда Петьке четвертый из выходов. Не самый

честный, но сберегающий нервы — плюнуть на эту историю...

Но что мне предложить ему нынче, когда поступок его был в десять раз легкомысленнее и новое дело куда грозней прежнего?!

Перебираю в уме имена людей, могущих разобраться, помочь, верчу телефонные диски, хожу на приемы, выслушиваю советы не впутываться в эту историю и направляюсь к тебе.

Ты еще не приехал с работы, дома лишь Наталья Сергеевна, только на днях возвратившаяся из туристской поездки. Она рада возможности порассказать, поболтать: «Ведь сколько ни ездил во Францию, всегда увидишь там необычное»,—и мои мысли о Петьке перебиваются восторженными устными очерками о гостиничной комнате, где вместо диванов и стульев мягкие подвесные шары, опускающиеся для тебя с потолка, да о девицах, подверженных моде вышивать на платьях свои адреса.

— Это призыв. Понимаете?! Недвусмысленный, откровенный призыв!— восклицает Наталья Сергеевна, то ли возмущаясь цинизмом, то ли восхищаясь придумкой.

Ты приезжаешь, обедаешь, вы заставляете меня, сытого, тоже жевать что-то, потом пробовать компоты, которых Наталья Сергеевна наконсервировала чуть ли не полтысячи банок, потом убеждаться в названной цифре... Она раскрывает буфет, встает на стремянку и распахивает передо мной антресоли, показывает стенные шкафы, тоже набитые банками, жалуется, что архитекторы не предусматривают в квартирах чуланов, и я уж побаиваюсь, что эти стройные галереи консервов могут предрасположить тебя и к стройности разговора о Петьке... А он не смеет быть стройным! Ты должен в нем бесноваться, как я! Нет, ты будешь бесноваться, как ты! Прежний! Тогдашний! Бывший Петькиным сверстником!

Я рассказываю тебе о трагедии, происшедшей в депо. Как трамвай, выходявший из ремонта на линию, перерезал рабочего.

Как эксперты спорили, по чьей это случилось вине. Как разбухли от показаний, от актов, от разноречивых суждений папки этого злосчастного дела, кочевавшего по разным инстанциям. Как дважды присуждались семье погибшего деньги за утрату кормильца и как люди, которым эти решения угрожали потом личной ответственностью, добивались отмены их. Как выдавался и отзывался исполнительный лист. Как Петька не в состоянии был этого вынести, не мог больше видеть бесплодных хождений женщины с тремя ребятишками к начальству депо и принял решение положить этому делу конец, стать верховным судьей, исполнителем, кассиром, бухгалтером. Как подбил к тому же еще двух водителей. Как передали они дневную выручку со своих маршрутов не в кассу, а женщине. Рассчитались с нею от лица депо, за депо...

— Да, парень решительный. И к тому же находчивый! — удовлетворенно сказал ты, широко улыбнулся, и в глазах у тебя мелькнуло что-то молодое, веселое.

Я обрадовался.

— Поставил начальство депо перед фактом! — продолжал ты, явно довольный. — И как остроумно проделал это! У нас так обесцвечивается обычно фантазия, что просто радуешься таким вот ее проявлениям. У кого есть хоть немножечко юмора, тот не сможет не оценить.

И вдруг посуровел:

— Но ты думаешь, что курс юмора всюду высок?... Куда ты обращался? В юстицию?

— Да. Хотя у меня в ней давно растеряны связи.

— А у меня их в Москве и не складывалось. Как уехал из Сибири, не приходилось с ней дела иметь.

— Для тебя это не имеет значения. У тебя связь создается самым способом связи. Аппаратом, по которому ты

разговариваешь.

— Не переоценивай, — коротко бросил ты. — И к судьям напрасно ходил. Отрезал пути мне. Им неудобно будет, отказав тебе, сделать мне. Да и связаны рутиной, формальностями. У них все операции требуют оформления, времени... Я попробую без них обойтись... А парень твой молодец! Какая смекалистость! И, главное, смелость какая! Если хочешь, — воодушевился ты вдруг, — этот поступок может даже служить эталоном настоящего гражданского мужества. Ведь что оно такое? — то сопротивление неправде, рутине, противопартийности, злу, связанное с самопожертвованием. С готовностью отвечать за свои действия карманом, постом, свободой, судьбой... Ай, парень! Как услышишь о таком, просто душа веселится. Наточка! — крикнул ты. — Наточка! Иди к нам сюда, ты послушай-ка... Послушай, какой у Володи знакомец есть и что он удрал... Не чета товарищам нашего сына, всем этим молодым дальновидцам... Жаль, его дома нет. Не мешало бы послушать о сверстнике. Тоже водителе, да только другом...

Наш следующий разговор о Петьке произошел дней через десять. Совсем уже другой разговор...

— О нем собраны сведения, — рассказывал ты, — и они хуже худшего... Демагог натравливал рабочих на цеховое начальство, альфонс. От собраний уваливает, газет не читает. Звал товарищей на богослужения. Числятся два привода в милицию. За пьяную драку и за повторное нарушение правил движения... В истории с деньгами, да организованной притом коллективно, видят поэтому вылазку...

— Но это же чушь! От начала до конца просто чушь!

— Чушь или не чушь, я не знаю, ты слушай... Если кто-нибудь гибнет по вине предприятия, с последнего, как ты знаешь, снимают три шкуры, но за несчастье, происшедшее по неосторожности самого потерпевшего, ответственность следует

лишь материальная и значительно меньшая. И вот в этот спор — спор далеко не законченный, ибо обстоятельства гибели толкуются разное, — вмешалась договорившаяся группа парней. Для чего вдруг вмешалась? Чтобы уверить рабочих, будто правды на законных путях не найти и действовать надо, минуя советские органы.

— Они дураки — те, кто тебе наболтал такое! Это черт знает что!

— Может, и черт знает что, но я продолжаю... Случай в трамвайном депо — это попытка занести в здоровую заводскую среду больные явления из других социальных кругов. Попытка, особенно опасная ныне, когда молодежь во всем мире совершает одну за другой неожиданности. Когда вообще тут и там... Мне незачем называть тебе страны, события. Международное положение сейчас таково, что надо смотреть в оба глаза. Оно не позволяет отнести к происшествию в трамвайном депо как к бездумной мальчишеской выходке. Считают, что с виновных надо взыскать все до копейки, хотя бы им пришлось это годы выплачивать, и выгнать их с шумом... Но ограничится ли этим, не знаю... Есть мнение, что их надо еще и судить. По какой статье кодекса, пока неизвестно, ее должен будет подобрать прокурор.

— Судьба Петьки зависит от мировой политики, значит? Но это же бред!

— Тут представлялись две возможности, — продолжал ты, не отвечая на мое восклицание. — Оставить в силе решение той судебной инстанции, что требовала выплаты денег, и свести тем самым все дело на нет. И второй вариант — отказать, наоборот, в иске семьи, чтобы сделать поступок парней злоумышленным... Если раньше исход спора был гадательным, то теперь, вероятно, восторжествует второе решение, и можно считать, что добрый порыв этих Петек испортил дело семье.

— Позволь!—вскричал я. — Но какое дело суду до Петьки, до этих хитроумных расчетов! Суд—это суд!

Ты посмотрел на меня и ничего не ответил. Мы оба долго молчали.

— Нам понравилась в его поступке отвага, — сказал ты после паузы,— а именно она напугала.

— Кого?— спросил я.

— Человека, придавленного грузом ответственности за состояние дел и умов в той части города, где находится это депо. А он что ни скажет — все будет на его территории истиной.

— Но ты-то не на его территории!

— От меня тем более здравости требуется. А не беззаботной храбрости безвестных парней...

В кабинет входит твой сын. Он в курсе истории с Петькой и, здороваясь со мной, весело спрашивает:

— Ну что, товарищи деятели? Потерпели фиаско? И правильно! Учат-учат вашего трамвайщика революционным традициям, водят на могилы борцов, рассказывают ему об их удали, выпускают для него фильмы и книжечки, а в него, оболтуса, ничего не внедряется, ему, видите ли, живую революционность давай! Ишь чего захотел! Таких надо к ногтю! В самом зародыше! Нет, честное слово, — смеется Сергей, — я не шучу, если бы я в каком-нибудь комитете сидел и мне пришлось такое дело решать, я бы сделал из этого протестанта мокрое место. В ситро превратил бы. Потому что дай им, этим подстрекателям, волю, они такой праздник очищения сделают, что меня бы потом, как постылую тещу... Правда, правда, я вам на полном серьезе! На днях я о вашем трамвайщике с восторгом на курсе рассказывал, но если меня в институтский комитет изберут и у нас такой комсомолец окажется, блата у меня за

него не ищите... Да, да, это факт будет!.. Очень вашему парню сочувствую, но понимаю и лиц, посмотревших на дело иначе...

— Слышишь? — сказал ты мне не без горечи. — Какой у моего сына ум деловитый! Мы с тобой в его годы не рассуждали так трезво. Но зато за него я спокоен. Если ничего не произойдет за рулем, то спокоен...

А мне стало, наоборот, беспокойно. Не мог больше сидеть. Но паркет у тебя так надраен и в комнате столько вещей, что двигаться надо умеючи... Я стал прощаться. Наталья Сергеевна пыталась удерживать, но мне хотелось не чая, а воздуха... Шел по двору. Долго шел по двору. В голове колобродило. Отчего теперь вход в дома со двора, а с улицы лишь в магазины? Сережка блондинистый в мать.. Для мужчины это уже чересчур—такие светлые волосы. Слишком отчетно, скандинависто, броско. Давно ли я носил ему к дням рождения мишек, потом «Конструктор-затейник»... Хорошенькая эта девчонка прошла сейчас. Но ей лет пятнадцать, а грудь... будто она у нее накладная. И в каком приятном джерси! За джерси всюду давки. Да, люди стали хорошо одеваться. У Сергея девчонок, наверное, выбирай—не хочу... Зубоскалит над тем, как мы тужимся с внедрением революционных традиций. Но мы правильно тужимся. Правильно боимся, что не все будут, как старшие. А с Сергеем другая опасность — что б у д е т, как старшие... Почему он назвал Петра протестантом? Это была только вспышка отчаяния. Трое осиротелых ребят, три месяца хождений по рельсам, бегущим в депо во все стороны. Вот так и отец их погиб. Петр просто не выдержал. Душевный порыв, а никакой не протест. А может быть, правда, есть в нем порыв и к протесту? От прилива жизни, от беспокойства, рождаемого атласом Африки, от неумения гасить скуку в пивных. Скуки, наверное, много. Нет, это не скука, это неясные побуждения, неопределимые склонности. К дикторству на маршрутах трамвая, к изгнанию гада из цеха, к очеловечению париев, к

неразведанным жизням. Все это, подобно любопытству к Елоховскому, поиски каких-то дверей, ведущих неизвестно куда из обычности. А смиренность с обычностью, верность обычности, ее нудному ходу, порядку была бы для Петьки, словно верность той или другой из соседок. Она бы вознаграждалась обилием постельной массы и запаса еды, но не приносила бы радости.. Как бесконечна и широка эта улица! Когда они сюда переехали, Сергею было лет восемь. Тогда тут, на Набережной, построился только первый квартал и квартиры в нем получала лишь знать. Теперь такие же, с тем же комфортом, с теми же видами на парк и Москву-реку — для многих и на многие версты. Ох, сколько построено, строится! Нет места, которое можно было бы узнать через год. Жалуемся, вздыхаем, скрипим, недовольны то тем, то другим и словно не видим, какая вокруг деятельная, сильная жизнь. Сколько люстр тут сияет! Сколько бледных полосок неверного света просачивается сквозь щелки драпри от экранов! И разве Петька, тот же безалаберный Петька, холостяк и обыкновенный трамвайщик, не стал тоже обладателем отдельной квартиры? Ему ли быть протестантом!.. Вот тащится старуха, смешно волоча свой высохший зад. Наверное, поясницу свело. Ничего, ей не придется на верхотуру карабкаться, поднимется в лифте. Если ломит крестец— может теплой ванной унять. Теперь беды—облегченные беды... Вот останавливается у светофора такси, набитое пьяной компанией, шофер оглядывается, не выпали ли его пассажиры, и на всякий случай вторично дверцу захлопывает. У «поплавка» подобрал их, наверное. Всегда там гуляки, никогда свободного столика нет. И во всей вечерней Москве его нет. Значит, много народа с деньгами... А вот эта старушка, высокая, еще не согнувшаяся, похожа на Екатерину Ивановну. Как одинока была она! Как мечтательно иногда говорила мне: «У нас комнатки рядышком, вот бы и на одном кладбище рядышком. На вашу могилу придут и на мою тоже посмотрят». А не терпевшая меня Марья Федоровна, ругавшаяся, что я своим табачищем гублю ей цветы, злобно

скрипела: «Вам так плевать на них, что я и на гроб-то вам вместо цветов окурков насыплю...» Екатерины Ивановны нет. Соседи ее по могиле — сплошь незнакомцы. Взглядывает ли кто-нибудь на ее крестик — не знаю. А остальные из нашей коммунальной квартиры давно расселились в отдельные. Не на кого шипеть теперь Марье Федоровне... Но люстры в домах почти все одинаковые. Как унитазы или дверные замки. Полверсты окон—еще ничего, а дальше уже не хочется и глаза поднимать. И сами дома тоже, пожалуй, слишком уж схожи. Когда люди здесь поселялись, они первое время часто попадали, наверное, то в чужой корпус, то в чужую квартиру... Глазу нужно разнообразие. Человеческим дням нужно разнообразие. Страстям и поступкам нужно разнообразие... Деятельная, сильная жизнь должна проявляться не только в возведении новых домов, городов, но и в возможности выявления сильных порывов. Цель нашего строя — чтобы все люди страны жили так, как живут здесь, на Набережной, и цель нашего строя — чтобы Петька мог выносить такие вот яркие постановления Верховного суда СССР, движением его души продиктованные. Ведь жизнь не старушечье прозябание, а жизнь только и хороша безоглядной бодростью!

Да, Петькин суд внес переполох... Это правда... Но так и должно быть! Это ж чудесно! Это же весело! Это ведь заиграла в окне новых форм самодельная, не унылая люстра!

И как можно забыть, что Петька — поэт. Не в стихах своих—в видении мира. А поэт не может не вносить беспорядка. Не может. Разумный разум — разум скучный, усталый. А Петькин опрощает мир и снимает проблемы. Отдал выручку—и делу конец, сразу к черту два тома хитроумных сплетений!

Это вердикт поэта, понимаете вы, мудрящие над этой историей?! Отменят его — прервется поэтическое нарастание жизни. Клянусь вам, прервется! Для всех деповских, для всех знающих эту историю.

Спаси это решение, спаси, найди ходы! Ведь ты сам был Петькой когда-то. Оглянись на себя, оглянись! Вспомни, как наш рыжий завхоз проложил из профессорской в аудиторию коврик, запрещал студентам ходить по нему, чтобы не пачкали его и не портили, и как мы, возмущившись, перетасили этот коврик в курилку... Вспомни профессора, утомленного спором с тобой и раздраженно приказавшего: «Хватит! Пишите, как я вам сказал. По этому вопросу всегда так писали, и нечего умничать!» «Что же из того, что всегда. Всегда была и холера, а теперь же вот нету ее», — возразил ты ему, и ответ этот стал знаменитым... Вспомни... Э, да что говорить... Как же мог ты теперь промолчать, когда Петьку хотят из-за международного положения выгнать! Нет, нет, такого с тобой не могло быть! В том разговоре с человеком, придавленным грузом ответственности, тебя просто охватил какой-то кратковременный шок! И я зря ушел сейчас, мне надо было рассмеяться или накричать на тебя, прогнать это оцепенение, вогнать тебя в краску. Ведь шок лечат горячим...

Я замедляю шаги. Поворачиваю, чтобы возвратиться назад. Неуверенно иду с полквартила. Потом опять поворачиваю...

Глава 5. Опасная дочь

Не первой молодости, но хороша, курит немного, но сильно затягивается, рюмки опорожняет не сразу, но пить не отказывается, рассуждает толково, но подчас слишком решительно и говорит почти весь вечер одна. Впрочем, она в Москве редкая гостья, и ее рады слушать.

А почему, собственно, редкая? В давнюю пору между Пермской и Тобольской губерниями лежал пограничный камень, на одной стороне которого написано было «Европа», на другой значилось «Азия». Поезда замедляли здесь ход, чтобы пассажиры помахали камню рукой. Теперь же границы и расстояния нет. Женщина вылетела из таежного города

в восемь утра по сибирскому времени, прилетела в Москву в восемь по местному. Это рейсы, в которых ничего не теряешь. Но последний раз она была у отца три года назад, а сейчас дала знать о себе, позвонив из «России», только на третий день по приезде. Дела! Нету времени!

Есть какая-то недоговоренность, неловкость в том, что женщина остановилась не здесь, а в гостинице, пришла с коробкой конфет и разговаривает со всеми на «вы». Но эту неловкость испытывают только хозяева дома, а сама гостья вовсе не ощущает ее. Не ощущает и лишка деловитости в своем разговоре, вертящегося вокруг проблем освоения Севера и лишенного тем личных, домашних, обыкновенной простой болтовни.

— К нам сто пятьдесят тысяч в году приезжают, — сообщает она, — сто сорок назад уезжают... И тут десяток причин. Не можем, например, трудоустраивать женщин. На высотные сооружения их не пошлешь, на кран не посадишь, а за прилавками и в канцеляриях все места давно заняты... Посылаем на подсечку леса — не идут. А если, помыкавшись, бабенка куда-нибудь втиснется, ей ребенка некуда деть. Ведь город у нас молодежный, рождаемость, будто на конкурс, а на детские сады и на ясли нет финансирования. Квартиру приезжий через год-два получит, а места в детском саду не получит. Тут надо Героем Труда быть или ног лишиться от несчастного случая, чтобы ребенка пристроить... Сотнями миллионов ворочаем, а чтобы где-нибудь ясли открыть, ловчим, изворачиваемся... Да только ли ясли! В школах ребята тетрадок сложить не успеют, как их уже гонят, чтобы освободить парты другим. И уж, конечно, нет у нас для людей никаких развлечений. А люди это такие, которых надо бы холить, ласкать, ублажать. Вот на днях от нас чуть-чуть не сбежал человек, чьи портреты в газетах печатались. Проходчик туннелей. Под силовые кабели их прогрызают. Бурильными молотками, в скале. Когда на

термометре сорок ниже ноля... Представляете?! Хорошо, что мне дали знать и я успела слетать к нему. Спрашиваю, в чем дело, ведь тебе, говорю, дали двухкомнатную, ты уже стаж накопил, тебе северная надбавка идет, как же бросаешь вдруг?! А он мне: «Черт с ними, с квартирой и с заработками, когда я тут одичал, ничего, кроме бутылок, не вижу».

— Трудности роста, — замечаешь ты неуверенно. — Ведь сама говоришь, что с жильем у вас не так уж плохо. Нельзя же все сразу...

— Почему же нельзя?! — перебивает она. — Знаете, во что это «не сразу» обходится? На создание места в детском саду нужно лишь половину средней суммы подъемных семье, покидающей Сибирь оттого, что это место не выкроено. Так почему же этого не подсчитали в министерствах, в Госплане, не знаю где!.. А во что влетают стране разъезды людей туда и обратно? И не только разъезды. Ведь потрачены деньги и время на их обучение. А приходят после них новички. Этих надо снова учить. Какое же это, к черту, планирование! — восклицает она грубовато. — Нет, надо именно все, все без исключения сразу! Если бы стройки городов заканчивались у нас вместе со стройкой заводов, все обстояло бы совсем по-другому. Не требовалось бы мобилизаций, путевок, вербовок. Каждый сам захотел бы селиться в новых местах. Скажите, капиталист платит двойные подъемные? — воодушевилась она. — Он не платит их вообще. Выступает он со статьями, речами, призывая романтиков ехать бороться с разными трудностями? Нет, он начинает с того, что обеспечивает отсутствие трудностей. Индустриальный район закладывается там с гостиниц, с баров, с аттракционов, с привоза всяких диковинок и украшения места. В чем там реклама, если нужно привлечь рабочую силу? В описании возможностей, выгод, удобств. Капиталисты знают, что именно так оно прибыльней. Так почему же социалистический район, социалистический город зачинается

без такого расчета?! Почему у нас эшелоны романтиков, прибывающих вместе и сбегающих порознь?! Они же обходятся в колоссальные деньги. Ни один капиталист таких расходов не выдержал бы! Нет, заводов у нас прибавляется, но ума не прибавилось, — заканчивает она резким выводом.

— Тебе, Лидочка, видны, так сказать, лишь локальные нужды,— возражаешь ты ей,;—а у государства много строек, много объектов.

— Локальные?! — вскипает она. — И это вы говорите о месте, которое дает в семь раз больше энергии, чем вырабатывала при царе вся Россия?!

— Я не оспариваю значения места, — противостоишь ты этому возбужденному тону, — оно известно всей стране, всему миру. Но у планирующих органов оно не единственное. Им приходится иметь дело с сотнями новых районов, требующих распределения средств. Поэтому естественно, что...

— Они словно нарочно делают все, чтобы человек был недоволен,— кончает она за тебя.

— Но это же несерьезно, Лидочка, совсем несерьезно.

— Что — несерьезно? Требовать шапку на голову, когда от мороза термометры лопаются?! Разве вы знаете, сколько нужно сил положить, сколько нужно мотаться из поселка в поселок, чтобы добыть на зиму ушанку! Ведь это одна из причин, по которой из Сибири бегут. Объясняют, что «оборудования для климата нет». У вас вот в Москве увлекаются теперь социологами, статейками о причинах текучести, а походили бы по магазинам у нас, так эти причины стали бы ясны и без модных наук... Помните, папа, у меня в детстве беличья шубка была? Поищите теперь во всей Сибири девчонку, на которой бы вы такую увидели...

Она начинает говорить о мехах, без которых в Сибири

вообще невозможно, и ты слушаешь понуро, угрюмо...

Нам с тобой памятни многие теплые вещи. Чулки, которые назывались чижамы, пимы с голенищами почти что до ягодич, подбитые мехом штаны, шлемы, башлыки, капюшоны... Из овчинных, беличьих, лисьих, телячьих, собачьих, оленьих и прочих мехов, из пряж, пуха, войлоков разного типа и плотности было столько противоморозных устройств и так они были доступны, что все переселенцы уже к своей первой сибирской зиме обзаводились тулупами, в которые можно было упрятаться с головой и ногами, полушубками, катанками. Разной зимней одежды можно было купить в любое время года в любом городке, по деньгам и на вкус... Лида жестоко права, утверждая, что все эти вещи еще много нужнее теперь, когда тайга вырубается и города стали продуваться ветрами, когда наехали люди, не привычные к здешнему климату, и развернулись под открытым небом строительства... Ты не можешь не чувствовать, что из Лидиных требований вопиет сама справедливость, что это взывают недо-одетые в лютую стужу мальчишки, чьи слезы на ресницах превращаются в льдинки,— ты не можешь этого не понимать, но когда твоя дочь вынимает из сумочки привезенную ею статью, требующую, чтобы меха продавались новоселам дешевле их стоимости в Центральной России, ты не наберешься сил помочь напечатать ее.

— Пойми, — утверждаешь ты, — это невозможно практически. Есть политика цен. Есть министерство финансов. Есть Союзпушнина, Союзраз-ноэкспорт, Госбанк и еще прочие ведомства... Ты не учитываешь бесконечные сложности...

— Так, значит, из-за сложностей ведомственных должна и жизнь быть сложна? — не хочет понять она. — И почему ведомства должны все заменять, надо всем ставить себя? Почему они должны руководить нашей жизнью, а не мы ими?

— Но не может же вещь стоять в одном месте два рубля, а в

другом — только рубль. Ведь будут скупать тогда. Откроется широкое поле для воровства, спекуляций. И станет невозможен контроль.

— Ну, а сейчас у нас всюду бесконечный контроль, один другого во всем контролирует, а воровства и спекуляций дай боже! И вообще, папа, это не разговор. Я вам вот что скажу: или социализму пора найти способы делать стимул выгоды ненужным, излишним, или он должен давать ее. В частности, жителям Сибири, если мы хотим заселить ее. Ведь сейчас все наши гигантские стройки — только на узкой полоске, только по краю тайги... Надо думать о будущем!

— Вот потому-то, что мы о будущем думаем, я и вынужден опять повторить, что все сразу нельзя. Международная обстановка тебе тоже известна. Средиземноморские корабли что-то стоили. А из Средиземного они будут держать курс в океан.

— Имперская политика, да? Ну, а мы у себя мировых проблем не решаем или, вернее, считаем, что они именно у нас и решаются.

Если Сибирь расцветет, вся страна себя в исторической перспективе увидит.

Еще долго идет этот спор, которого никогда не Доспорить, а я смотрю на энтузиастку Сибири, на эту несговорчивую, волевою, незнакомую женщину, создающую в холодных лесах города, и стараюсь найти в ней хоть отдаленное сходство с обликом девочки в кружевном беленьком платице... Неужели это ее, такую теперь деловую, упорную, думающую вразрез с тобой и Госпланами, водила когда-то мама по набережной?! К откуда в ней эти свойства взялись? Или тут что-то от тебя, от тогдашнего?..

Как игрива судьба: ты, сибиряк, давно уже стал москвичом, а мать этой женщины, москвичка, завезенная в Сибирь против

воли, и посегодня там... И хоть бы оставалась мать Лиды в сибирской столице, в Иркутске, в благоустроенном городе! Так нет же, она провела все эти долгие годы черт-те где, в непролазных местах. Вышла после войны за гидролога, он стал начальником строек, она кочевала с ним. Очаги ее менялись-менялись, да и были ли они, собственно говоря, очагами... Даже с Лидой, дочерью от первого мужа, старушка видится теперь лишь раз в несколько лет. А сама Лида потому, вероятно, стала такой независимой в делах и суждениях, что росла при отчине в необжитых местах, среди разношерстного рабочего люда, а студенческую пору провела в общежитиях. Став потом женою и матерью, она возложила возню с детьми на свекровь — одну из считанных бабушек молодежного города — и предохранила себя от того, чтобы сделаться дебелой матроной.

Наталья Сергеевна считает нужным быть к Лиде особенно гостеприимной, все время подкладывает ей что-нибудь на тарелку, одобряет все, что та говорит, и сетует, что она не взяла с собой девочек.

— Ведь вы привозили их шесть лет назад. Мы видели их только крошками... И вообще я на вас очень обижена, Лидочка. Нехорошо, очень плохо вы ведете себя... Разве дом вашего папы не ваш? Или жена его ведьма?

— Ну, что вы! Мне так просто удобней... А девочек нельзя ведь развлечения ради отрывать на две недели от школы. Они и так далеко не отличницы. Вот и в будущем году у нас будет трехмесячный отпуск, поедем всем кланом на юг, вот тогда обязательно... А сейчас я ведь по делу. По тысяче дел. Мне столько поручений дано. С утра приходится на телефоне висеть, хлопотать о пропусках, о свиданиях... У меня, папа, на вас большая надежда. В некоторые места я и сама пробьюсь, а кое-куда без вас не прорваться... И еще я хочу, чтобы вы меня связали с газетами. Может быть, ваша протекция придаст какому-нибудь редактору храбрости. А иначе пошлют в отдел

писем, сдашь материал, а через месяц раскроешь газету и ахнешь. Так все пригладят и перешерстят, так все у нас будет выглядеть устроенным, сделанным, что не поймешь, о чем еще люди хлопочут, какого рожна еще надо им. Да, да, папа, — предупреждает она твое возражение, — когда мы что-нибудь читаем о нас в центральных газетах, то из них узнаем, как все хорошо... Вот недавно один хлюст побывал у нас, заснял несколько новых кварталов и надписал, что вот так живут теперь люди на такой-то долготе-широте... Хоть смейся — хоть злись... «Другого заснять у нас нечего,— слышала я после этого.— Чтобы худое увидеть, журналистам надо еще дальше в широту-долготу пробираться, через Аляску летать. А у нас скверного ничего не осталось, мы—Эльдорадо». Ой, кстати, все забываю в словаре посмотреть... Что это, папа, такое? Чувствую, а точно не знаю.

Ты слушал Лиду обеспокоенно.

— Вот тебе на! Неужели, правда, не знаешь? Хоть к инженерии это не имеет касательства, а все-таки надо бы... Страна чудес и обилия.. Но я вот о чем хочу предупредить тебя, Лидочка... В министерствах, в редакциях, где бы то ни было, забудь этот тон. Одно дело — когда мы в домашнем кругу, и другое... Раз я о тебе буду звонить, то вправе и ждать. Попрошу тебя взвешивать каждое произносимое слово. Да, каждое... Все время помнить об этом...

Наступила довольно долгая пауза.

— Хорошо, — сказала медленно дочь. — Буду помнить, хотя, признаться, я не пойму... Никогда понять не могла... Мы создаем гидростанции, каких, говорят, нигде больше нет, строим самый большой из существующих на земле алюминиевых заводов и крупнейший на свете лесопромышленный комплекс, сооружаем три города, прокладываем на тысячи верст высоковольтные линии, У нас целые армии бетонщиков, крановщиков, шоферов, бульдозеристов, монтажников. У нас каждый парень может

получить профессию, заработок, место под солнцем — так неужели мы не можем, не смеем говорить о себе в полный голос? Почему нам не удастся просунуть в московские газеты письмо о том, что месяцами, годами сидим без проектов, что чертежи нам приходится буквально вымаливать, что сегодня одной документации нет, завтра — другой, работы из-за этого постоянно срываются, строим без всякого порядка, вразброс, люди и техника то и дело простаивают, деньги летят... Неужели, далее, мы не вправе сказать, почему люди у нас не задерживаются, почему город стал постоянным двором, общежития в бардаки превратились — ох простите, Наталья Сергеевна, это у меня сорвалось, стараюсь, а не могу о наших порядках спокойней... Знали бы вы, сколько из-за этих вопросов хозяйственных возникает всяких других, сколько у нас дел алиментных, матерей-одиночек, разводов, прыжков в Ангару! Вы себе и представить не можете, сколько этих прыжков в Ангару! А пьют у нас как! Боже ты мой! Сами руководители горько остряют, что, если бы наше море было из водки, оно обмелело бы... А отчего это все, отчего? Оттого, что нам дают деньги на объекты, а не на устройство человеческих жизней, оттого, что работа начальников наших оценивается по этим сданным объектам, а не по количеству осевших людей, оттого, что сами эти люди бессильны что-нибудь решать, изменять, оттого, что мозгам их нет приложения, а энергии — выхода, и ни о чем этом даже нельзя говорить, и вы, папа, тревожитесь, как бы я где-нибудь не забылась, не ляпнула...

— Что вы, что вы, Лидочка, — поспешила успокоить ее Наталья Сергеевна, — папа ведь только предупреждает, это для вашей же пользы... И он все вам устроит, все пропуска и все встречи... Мы же хорошо понимаем, хорошо понимаем...

— Да, устрою,—сказал ты. — И действительно, хорошо понимаю тебя. Даже больше — рад тебя видеть такой. Надеюсь, Наталья Сергеевна на меня не обидится, если скажу... жалею,

что в брате твоём нет такой же воодушевленности, такого же отношения к людям, к делам... Но вот оценки твои, язык, обобщения... Прости меня, Лидочка, это провинциализм, ограниченность. Беды, о которых ты говорила, — это все неизбежные издержки при таком размахе работ, таком передвижении сотен тысяч людей... Ну, вот пьют, говоришь. Ну и что из того? Это наш старый скифский порок. А на морозах, да еще при огромном скоплении безнадзорных, неустроенных юношей порок этот сказался особенно. Но умей посмотреть на это иначе, умей посмотреть с исторической вышки...

— Умею, — перебила Лида с неожиданной сдержанностью. — Я не из тех, кто оспаривает историческое значение нашего дела. Хочу, чтобы мы сами не унижали его. А что касается слова «издержки», то позвольте спросить: кто дал на них право? Это слишком удобное слово. Не хочу повторять, чем оно для нас оборачивается... Мы, папа, живем в разных сферах, у вас не те дни и дела, что мои, поэтому и зрение разное... Может быть, это и хорошо, — заключила она примирительно, — при общем взгляде на вещи мы упускали бы что-то...

— Правильно! — обрадовалась Наталья Сергеевна. — И хватит о делах, о политике! Хватит! Давайте условимся, Лидочка, что в субботу вы с нами обедаете, а потом мы к Лене поедем. Она вас так мало знает, а так уважает, так любит...

— У Лены я побываю обязательно, можете не сомневаться, я даже подарок ей привезла, стоит у меня скатанным в номере. Редкая вещь теперь, случайно купила. Медвежья шкура, мохнат. У Лены сразу заиграет квартирка. И, главное, мальчонка сможет играть на полу.

— Ох, Лидочка, большое, большое спасибо вам! А от меня вот примите...

Наталья Сергеевна убежала в соседнюю комнату, порылась в шкафу и вынесла дочери мужа два парижских гарнитура белья.

Я с любопытством наблюдал за реакцией, которую вызвал этот подарок у жительницы сибирского города. Приехавшая в импортном костюме «джерси» — одежде, ставшей у нас униформой, — Лида внимательно рассмотрела белье и, не жеманясь, сказала:

— Господи, какое чудесное! Почему у нас так не делают!.. Мы с мужем получаем большие деньги, а я еще никогда не носила такого... Но, Наталья Сергеевна... Я не возьму. Знаю, что вы от души, но... Это для Лены!

— Неужели вы, Лидочка, думаете, что Лену я обделила! — засмеялась Наталья Сергеевна.

— Все равно, — возразила Лида решительно. — Белья для женщины никогда не может быть много.

— Не дури! — вмешался ты. — И учти, что этот комочек — только начало. Подарки мы еще подберем. Главным образом для внушек моих. Пусть чувствуют, что у них в Москве дедушка.

Для чего пишу я эти страницы о приезде в Москву твоей старшей дочери? Может быть, хочу показать, как в доме твоём, где гости спорят о правах режиссера снимать в роли молоденькой женщины свою немолодую жену или, например, о тонах, в которые следует окрашивать стены, — как в этом доме зазвучали вдруг разговоры иные, с заботами неизмышленными, негодованиями неподдельными, шумными? Нет, вовсе не то. Я не сторонник противовесов, антиподов, примеров. И, кстати, совсем не считаю, что Наталье Сергеевне требовалось в нравах ее дома оправдываться, не считаю, что ее пустая жизнь хуже чьей-то наполненной... Да и Лида не так уж очаровала меня. Она делательница жизни, это бесспорно, но отнюдь не носительница всей ее правды, и... чего-то мне в ней не хватало. Я провожал ее до гостиницы, мы шли пешком, много еще говорили, но она не раскрылась мне какими-нибудь новыми сторонами, и к моим первым впечатлениям ничего не прибавилось. Продолжая

разговор, который вела за столом, она сказала: «У нас, наверное, думают, что светопреставление будет, если писать о вещах так, как есть», — но мне эта однотемность наскучила, я стал расспрашивать о ее собственной жизни, о семье, повседневье и почуял, что оно не столь уже ярко. Оказалось, что у них есть моторная лодка и выходные они проводят на море, что они рано встают и поэтому вечером уже никуда не стремятся, мало читают, а если где-нибудь собираются, то «муженек лопают водку не хуже других»... Все это она считала, видимо, нормой жизни, тяги к чему-нибудь иному и большему я в ней не почувствовал. Особенно не по мне было услышать, что она ходит с мужем в тайгу на охоту...

В нашем прошлом были затрепанные детские книги, рамы с портретами предков, альбомы, реликвии. Уезжая в новый город, мы что-то перевозили из старого. И у нас всегда оставались вещицы, связывавшие нас с предыдущим. А у Лиды кочевки начались очень рано, она ничего не успевала взлелеять, оценить и сберечь, с каждым новым местом завязывалась у нее новая жизнь, и в ней не было чердаков с журналами времен эполет, бакенбардов и крестов над некрологами, не было потаенного дупла в лесу и пенечков с заветными буквами... Может быть, поэтому на Лиде как-то особенно заметно сказалось, что в тайге нет певчих птиц... Она далека от стремлений к неизвестному, в ней нет той неясной тоски, что влечет людей за пределы их места и дня. Ее помыслы, желания, требования сугубо определены и вещны! Она служит в своем городе неким маленьким центром, возле которого кристаллизуются стремления ее земляков, и дай бог ей в этом успеха, но вряд ли дети ее познают от матери прелесть пушкинских строк, вряд ли не заскучают без радио, найдут себе дело в собственном обществе.

Нет, не попал я под обаяние Лиды, и не им продиктована эта глава. Она о тебе. О том, как ты справлялся со взятыми на себя

нежданно заботами...

О, несомненно, что ты хотел сделать для дочери все возможное, помочь во всех хлопотах, дать хорошо провести время в Москве, проводить удовлетворенной, довольной. Ты в тот же вечер отчитал Сергея за то, что он не позвонил ни разу домой, не узнал о приезде сестры, заставил его чуть свет поехать в гостиницу и возить затем Лиду по учреждениям. Ты лично побывал у администраторов нескольких московских театров и запасся билетами. Ты отправил Наталью Сергеевну в ГУМ, в «Детский мир», дав и ей цель жизни на неделю-другую, и Лиде чемодан со всякою всячиной. Ты успел за это же время трижды свести своих дочерей, постаравшись их сблизить, скрепить их родство. Другими словами, ты сделал больше, чем сделали бы многие другие родители в двойственном твоём положении.

Но...

Волею случая я оказался свидетелем твоих телефонных хлопот. Зашел к тебе в учреждение, в служебный твой кабинет, когда ты вел разговоры о Лиде. И тут услышал, что она... что она тебе вовсе не дочь.

— К нам тут приехали из Сестерска, — говорил ты своему собеседнику, начальнику одного из больших проектных институтов Москвы. — Вы задерживаете им документацию на холодильник. Ах, вы в курсе?.. На Гипрогор возложены сейчас другие задания? Да, да, понимаю... Но, видите ли... Этот холодильник — особая статья... Все деревни вокруг Сестерска, как известно, затоплены, на их месте раскинулось море, продовольственной базы и рынков здесь поэтому нет, все снабжение идет из дальних источников, продукты быстро подвергаются порче, это вызывает подчас недовольство рабочих и... вы поймете, что пуск холодильника надо рассматривать не только в аспекте хозяйственном... Да, да, попрошу вас принять... Как фамилия? Сейчас уточню. Черных. Инженер Л. Н. Черных. Женщина, да.

— Здравствуй, Александр Васильевич! — говорил ты другому.— Я вот по какому поводу беспокою тебя. К нам обратилась тут некая Черных из Сибири. Рассказывает о всяких непорядках в быту. Ах, завалила вас письмами? Местнический курс и настырная баба? Да, мне она тоже не показалась голубкой... Но кое-что в ее рассказах заслуживает... Боюсь, что если она до нашего патрона дойдет... Тем более что привезла с собой от губернатора письма... Не лучше ли предотвратить заварушку?

— Ну, как, Степан Федорович, решили вы быть с сибирячкой? — справлялся ты еще у кого-то. — Никак еще не решили?.. Не смею подсказывать, но что-то нужно решать. Это, видимо, очень агрессивная женщина... Ваши плановики возражают?.. Нет, я ничего ей не обещал, ничего... Но вы же знаете, какой чалдоны народ. Варнаки! Подождут-подождут— и прямиком по вертушкам. Тогда все равно придется заказывать им, но уже впопыхах..

— Слушай, — спросил я, — почему все эти твои разговоры... почему они какие-то не твои, не обычные? Зачем ты скрываешь, хитришь? Почему не скажешь прямо, что это приехала твоя дочь из Сибири, что ты ей хочешь помочь? Просителей в Москву приезжают многие тысячи. А тебе пошли бы навстречу.

— Да, вероятно, пошли бы, — не сразу ответил ты. — Но... Ты же видал ее... Отсутствует самоконтроль... «Что вы ссылаетесь на решение сверху! — услышал от нее министр энергетики, у которого я ей устроил прием. — Мы у себя не смотрим на решения сверху, как на проявления высшей государственной мудрости...» Представляешь себе! Он это мне на днях при случайной встрече сказал. Со смешком и подмигиваниями. Так зачем ему знать?.. Или сама рассказала мне, например, о своем выступлении в ЦК комсомола. Оно было верхом бестактности. Там всесоюзный форум собрали, чтобы

обсудить участие комсомола в строительствах, она случайной приглашенной была, но вместо того чтобы часик-другой отсидеть, выскочила на трибуну и стала ругать их за тамтам о посланцах, которые будто бы строят Сибирь, а на деле из нее разбегаются... Ты только подумай, какой эта гостья преподнесла хозяевам праздничный торт! Трудно было подобрать обстановку, в которой эта выходка была неуместней... Поэтому я и не афиширую родственности. Ты это должен понять...

Я и понял. Понял, что ты отрекался от дочери. Понял, что не носи она фамилии мужа, а останься при девичьей, ты вообще не ударил бы для нее палец о палец. Понял, насколько потерял ты естественность, если опасаясь в дочери именно этой естественности. Понял, что, подобно Наталье Сергеевне, подолгу приводящей в порядок лицо, ты тоже не оставляешь его, когда надо, без грима. И в таком полусвете держишь, наверное, часто..

Испугался, что дочь может ляпнуть... Да, очень-очень свойственный нашему времени страх. Боязнь слов у нас неодолимей, сильнее, чем некогда боязнь привидений. Составляя статью для печати или проект речи начальству (они именно составляются тобой, а не пишутся), ты так подбираешь, прикидываешь, примеряешь слова, как делает это отцветающая женщина с пуговицами. Какой скверный симптом — такая разборчивость. Она следствие постоянной борьбы двух несоединимых начал — необходимости и говорить, и скрывать. Отсюда тяга к неопределенным словам, словам без цвета и контуров, выискивание и утверждение этих пластилиновых слов, вытеснение ими обильного, ясного, живого словаря русских людей, даже борьба в твоём ведомстве с этим словарным запасом, борьба, отнимающая время и силы от службы людям, от подлинных дел...

Лида может черт-те что бухнуть... Да, может. Но это и ценно! Для того ведь она и приезжает в Москву, чтобы ругаться

и требовать, взыскивать и понукать. Двери министерских кабинетов именно для нее и должны быть распахиваемы, для человека несдержанного, видящего все, как оно видится, а не как велится. «Если хотите быть наведенным на дельные мысли и не упустить возможности сделать хорошее, то выслушайте мою дочь, прилетевшую из индустриально-таежного края», — следовало тебе, гордясь дочерью, говорить руководителям ведомств. А ты...

Впрочем, ты, вероятно, считал, что не всякий министр обязательно заинтересован в хорошесть. Считал, что, чем лучше такая вот Лида для людей и для дела, тем хуже может она оказаться для себя, для тебя...

Нет, зря я тщусь обелить тебя.

Стремления к хорошему в тебе еще есть, но силы на него уже капельные...

По какому же признаку должны теперь определять тебя люди?..

Глава 6. Неосуществимая просьба

Я приступаю к самым тяжелым страницам — к истории с Петром Николаевичем... Именно она заставила меня наконец задаться вопросом, зачем я упорно хочу видеть такое, чего в тебе давно нет, и стоит ли продолжать нашу дружбу...

Он не часто бывал у вас. Обширный и пестрый круг ваших гостей формировался преимущественно Натальей Сергеевной и складывался из приятельств, заводившихся на курортах, на даче, в туристских поездках. Одни из этих приятельств держались годами, другие редели и гасли, но к праздничным дням вы получали-отправляли уйму посланий и могли накрыть стол то на нескольких, то на многие десятки персон. Большинство их оставалось тебе совершенно чужим, и ты часто чувствовал себя среди гостей тоже гостем. Любившая общество неутомимая Наталья Сергеевна рада бывала, когда и ты вводил кого-нибудь

в дом, тем паче если они были людьми с именами. Но случилось это все реже, от множества поверхностных знакомств ты стал уставать, разномастностью людей за столом тяготился, многотемье, то есть бессодержательность их разговоров, начало тебя раздражать. Ты предпочитал лишь двух-трех собеседников, и не в столовой, а в своем кабинете. Водиться же с писателями тебе вообще не хотелось... Последние годы ты читал их все меньше. Неохотно просматривал даже и тех, о ком время от времени поднимались разговоры и шум. «Ни одна книга тебя не устраивает», — как-то сказал я тебе. «Да, — отвечал ты, — потому что никто не может в ней выговориться». А допускать, чтобы авторы выговаривались у тебя на дому, — значило ставить себя в положение ложное, двойственное...

Понятно поэтому, что широко читаемый Петр Николаевич был для Натальи Сергеевны респектабельным гостем, на которого она приглашала других. Но респектабельности внешней, наружной, у него не было вовсе. Небольшого роста, худощавый, белесый, прошедший молодость в лесной деревушке, пробившийся к своему громкому имени не удачей, не счастьем, а подлинным даром и непрестанным трудом, он крепок был в слове за письменным столом, на бумаге, но никак не создан для занимательных, игривых бесед. Тем более на большие для него литературные темы, да еще когда на столе стоял пузатый графин... От него ждали рассказов о модных собратях, о литературных скандалах, о битвах на собраниях или в редакциях, а он, хмелея и супясь, говорил о битвах в уме и душе

своих, о битвах за литературу, за будущее. Говорил непоследовательно, то раздумчиво, то круто и зло, ни с чем не считаясь.

— Они правы, — внушал он сам себе вслух о литературных властях, — книга не смеет вносить в души разлад. Книга должна помогать людям жить, должна радовать... Промышляли

классики сотни лет противопоставлением человека и общества, сколько же можно... Разве те времена теперь!.. Где сейчас лишние люди? Исчезли! У нас и наличных-то не хватает. Не знаю, что будет, когда придет автоматика, а сейчас каждый может найти себе приложение. Я вот побывал недавно в деревне, на родине. Там шестьдесят пять дворов, а одногодков моих—никого. Кто учительствует, кто инженерствует, кто в заграницы летает... Вот она — тема сегодняшних дней! И соскребание с земли хижин, халуп, замена их цехами, доминами... А нашему брату, видишь ты, обязательно надо о всяких нескладацах, о грызунах, что душу подтачивают. Правы, конечно, начальники, что стучают нас по мозгам, выправляют их... Правы!

А потом он начинал возражать себе:

— Но ведь дома и заводы без меня тоже выстроятся, а я же писатель, черт подери! Писатель, а не описыватель. Я же за теми разговорами, езжу, которые в повестках не значатся, а ведутся в перекур, обиходом, за стаканом, когда дети легли... Беседовать мне ни к чему, я норовлю разбеседоваться... Мне ж интересно, отчего мой инженер хлещет водку, почему женщина, с которой мы вместе топали в школу, тишком тащится за пятьдесят километров ребенка крестить, почему я в восемнадцать верил каждому печатному слову, а у племянников моих отношение к словам изменилось... Да, книга нужна на радость, на пользу, но как мне их принести, если героев своих буду в тисках держать, не дам вырваться крику? Ведь он у них тогда так и останется в сердце...

Он наливал себе стопку, сглатывал, беспомощно, как-то поребачьи кривился, Наталья Сергеевна спешила что-нибудь пододвинуть ему, но он не обращал ни на одно блюдо внимания, брал соленый огурчик, откусывал его белыми молодыми зубами — только их не искрошили в нем думы да ночное труженье — и продолжал в той же грубоватой манере:

— Я со Степаном пол-лета рыбачил, у Игната просиживал вечера в общежитии, Ивана уберег от развода, от Дарьи три ночи выслушивал, почему она в земных кумирах изверилась и обратилась к небесным... Перед кем они душу вырастывали? Передо мной или теми, кто учит меня, что можно и чего нельзя им сказать? Да ведь люди ждут в моей книге продолжения именно тех разговоров, что вели со мною они, а не тех, которые проводило со мною начальство. Они, только они мне указчики! Да еще Федор Михайлович, который с богом силами мерялся, да Лев Николаевич, свой дневник мне оставивший... Учительство для книжного человека есть книги, а не надзиратель за книгами.

Если бы они, эти надзиратели, с классиками дело имели, — продолжал он с усмешкой, — ни шиша бы от них не оставили. Автору «Гамлета» сказали бы, что у него не герой, а трухлявая хиль, о Ромео — что это извращенный показ молодежи, об Отелло — что он патологический тип, о пьесах Островского — что они очернительство, изображают только мошенников, о Чехове — что все его люди сплошь безыдейная дрянь... Всех, всех заклевали бы! Обвинили бы в том, что они нагоняют тоску, что у них нет жизнерадостности, что занимаются одним мелкотемьем, копаются в чьих-то душонках, размазывают чьи-то несчастья, проходят мимо настоящих людей.

Он неумело, но с горькой язвительностью начинал изображать, как принимали бы классиков в сегодняшнем просмотровом зале киношников и на редакционных советах... Люди улыбались, поддакивали, а когда кто-то заметил ему, что тематика прошлого сегодня была бы и впрямь неуместной, он бросил:

— Тема у писателя была и есть одна — человек. Вот потому-то, что классики о людском людское писали, люди их и сегодня читают. А у нас сколько держится книга? От одного правителя до другого правителя, от одного поворота до следующего...

Он наливал себе еще водки, его бледноватое лицо становилось нездорово-румяным, а речь выдавала теперь резкие споры, которые, очевидно, велись им с людьми, решавшими судьбу его книг:

— Я не для того толкаюсь по городам и по жизни, чтобы отражать действительность, как ты ее понимаешь. Я не водичка в пруду. Я не отражаю действительность, я ее делаю. Делаю, какой ты ее не видел, не знаешь... Кто же кого должен учить?! Нет, дорогой мой, искусство потому и искусство, что ему нельзя научить. И не посылай меня ГЭСы да домны смотреть. От меня ждут не глазения, от меня ждут прозрения. Да, да, я должен прозревать за тебя, для тебя. Ни хрена ты в литературе не смыслишь, если думаешь, что она не должна через тебя перешагивать.

Обя-за-на! Да, да, обязана. Всегда обязана быть впереди тебя. Чувствуешь? Нет, не умеешь ты чувствовать, — пренебрежительно махал он рукой на невидимого своего собеседника, — иначе видел бы, как смешно получается: пожелаю я что-нибудь выдумать о жизни на Марсе — нет мне запрета, пиши, воображай, предвосхищай, что захочешь... О Луне, о Венере тоже вали... На любую планету летай, но только своей не касайся...

Прилуняться мне можно, приземляться нельзя... Могу перепрыгивать через указы науки, природы, но только не вылезать за твои. И, значит, выходит, что ты выше наук, мудрей бога. Да, да, ты себя над богом вознес. Ведь тот разрешал Зосиме с ним схлестываться, а ты не даешь мне писать и тогда, когда я тебя совершенно не трогаю...

Гости уже переставали поддакивать, они теперь переглядывались. Ты осторожно отставлял от писателя водку подальше. Но он искал ее глазами, находил, нагибал графин, переливал через край...

— Что нового я дам для ума, если во всем буду с тобой

соглашаться, к тебе подольщаться? — продолжал он, уже совсем опьянев. — Нет, я должен — понимаешь ты, должен расширять представления. У меня же роман — чувствуешь, роман, а не тамтам, не фанфары. Никогда не сказать чего-нибудь против сказанного где-то тобой я могу только, заткнувшись вообще... Эх, — шумно выдохнул он вдруг в заключение, — счастливый ты, что не имел дела с книгами и они у тебя не отнимали покой...

В комнате воцарилось молчание. Писатель опять потянулся было к графину, но ты поспешил переставить его на буфет.

— Довольно, Петр Николаевич. Хватит. То были красным, а теперь побелели. Вам надо ложиться. Сын пошел мотор разогреть и сейчас отвезет вас домой.

Но Петр Николаевич поднялся, оглядел тебя помутневшими, больными глазами, начал отталкивать и с ребячьим упорством силиться дойти до буфета.

— Вот так, — пробормотал он себе, — так все время, все время.. Ты хочешь вверх, а тебя тянут за ногу вниз...

Писал этот человек удивительно сильные вещи. Может быть, он потому и был щуплым, что истощал в них все свое существо, все свои нервные силы. Люди, которых он высматривал, складывал, разнимал, брал из ничего, из себя, становились в его книгах слышными, видимыми, представлялись читателю ближе знакомыми, чем соседи по дому. Их несходные мысли оказывались той разногласицей, которую читатель ощущал в себе сам, и он моментами вскрикивал, увидя вдруг высказанными слова, витавшие в его подсознании. Где-то таившиеся в нем вторые, третьи и четвертые «я» делались неожиданно зычными, один заглушал при этом другого, в душу входили какие-то ясности, но не с тем, чтобы навсегда в ней улечься, а, наоборот, затревожить ее совсем новыми, еще не раздававшимися в ней голосами.

А средства Петра Николаевича были как будто нехитрые. То

свежие, как соковица, то крепкие, как несворачиваемые глыбы, то вдруг опаляющие, словно ожог, слова Петра Николаевича не содержали, однако, никаких изощренностей. Он обладал безлукавою тайной претворения всего сущего в тело и кровь, не прибегая к мудреностям, и знал, твердо знал — на то он крестьянином был, — что никакое кокетство не может состязаться в читательской душе с простотой. Он не спрашивал себя подобно другим, писать ли ему для гурманов или для масс, перенимать ли входящие в моду приемы, снижать ли в своих вещах меру быта, чтобы поднимать их над сегодняшним днем, как соотносить свое дело с наукой, отнявшей авторитет у всех мыслей... Он просто писал, сообразуя свое дело с собой.

Поэтому его равно читали и девушки, ожидающие в избе книгонош, и снобы, которых в других случаях прельщает только манера.

Так же далек он был от сует литературного мира. Жил на отшибе, за городом, наезжал в него только по надобности и сторонился среды своих шумливых собратьев.

Об этой среде с ее мимикрией, суетностью и борьбой честолубий он однажды рассказывал нам с подлинной горечью. Говорил об измельченных талантах. О проявляющих гиперлояльные чувства и о тех, кто крикливыми оппозиционными нотами пытается заслужить себе репутацию лихих вольнодумцев. О тех, кто шмыгает между этими лагерями. О тех, кого тягостный опыт иных смельчаков превращает из постоянных витий в таких же молчаливых. О том, как происходят здесь вспышки отчаяний и как их лечат секирой. О тех, кто рвется к славе противоположным путем, жаждет, чтобы нетерпимость усилилась и они стали бы жертвами, мучениками. О том, как литературная жизнь, вместо того чтобы быть многоголосой и радостной, ушла в шепоты, шорохи.

Рассказывал все это Петр Николаевич не очень картинно, но достаточно обезбоживая литературный олимп. А картинности не

хватало ему оттого, что сам он при этих баталиях, эскападах и тризнах почти не бывал и лишь пересказывал слышанное. Пересказывал, устало помахивая после каждого эпизода рукой, —они равно претили ему...

Видел я его тогда всего второй раз, происходило это среди дня, он был трезв и даже решительно отказался от выпивки, но тем тягостнее все это звучало...

— Почему, — спросил я его, — у вас обо всех одинаковый тон? Даже о тех, кто пишет петиции. Насколько я слышал, они подаются о том, что и вы однажды при мне говорили.

— Да, — вздохнул он, — вы правы... Донкихоты никогда ничего не спасали, но, если и донкихоты повыродились,— совсем расхотелось бы жить... Однако и донкихотство уже надоело. Все надоело...

— Проветриваться, отдыхать надо, Петр Николаевич, — сказал ты ему. — Ведь вы, наверное, почти и не спите?

— Часов пять удастся. С люминалом, конечно.

— Вот оттого и настроены так... Поехали бы в Дом творчества на месяц, на два.

— Не люблю домов творчества.

— Ну, в деревню, на воздух...

— Вот затем и решил вас посетить, чтобы помогли мне в деревню, на воздух...

Ты посмотрел на него вопросительно.

— Два года девять месяцев лежала в издательстве рукопись, — начал он объяснять.— Два года девять месяцев, да... За это время две новых написаны... Сначала нашли, что больно глубокая, и держали в самом глубоком из ящиков. Потом посылалась на отзывы. Их целая папка скопилась... Потом читалась в местах, где не пишут бумаг, но ставят на полях

вопросительные... Я переделывал... По отзывам, по вопросительным, по галочкам, палочкам... И вот, наконец... Наконец, включается в план, назначают редактора. Я рвусь на ваш целительный воздух, а он не подписывает. Ставит собственные вопросительные галочки, палочки. Все снова— сначала... Иду к директору, прошу другого редактора... Этот опять вопросительные, опять галочки, палочки... Ха-ха-ха, — засмеялся он неестественно, — ха-ха-ха-ха...

Ты слушал нахмуренно.

«Боже мой,—подумалось мне, — если такое творят с человеком, которого подростки читают, то что же...»

— Убей меня бог,-»» перескочил он вдруг на другое, — если я понимаю, почему у нас пишут статьи против абстракционизма, модернизма и прочего. Ведь на самом-то деле мы не их, а реализма боимся. Страшен-то, наверное, именно он! Ведь корежат, мнут, увечат меня как раз потому, что пишу о реальностях: Ха-ха-ха, — опять засмеялся он деланно,— не Тот путь избрали издатели, совсем не тот Путь. Бороться с писательством надо иначе. Радикальнее, круче! Как действовали когда-то лет с полтыщи назад. То время нам родственно. Ведь не имеет значения, что на реках плотины настроены и там грохочет вода, что в небе режут реактивные, а на полях тарахтят трактора и наше средневековое сочетается с шумом моторов...

— Петр Николаевич!—остановил ты его.

— Ох, простите, простите! Забылся. Не сообразил, где, кому... Да и вовсе, наверное, не думаю так. Просто состояние в последнее время... В человеке, по-видимому, слишком много нервных узлов, слишком много... И ничего не придумано, чтобы как-то их прижать, сократить... Я вот как раз задумал сейчас повесть о человеке, который... Нет, это, собственно, будут разговоры о целях. О ближайших и завтрашних, о мнимых и подлинных. О поисках целей и отказах искать. Это

неопределимо пока... И не знаю, этим ли сейчас вплотную займусь, потому что мне обязательно нужно еще... Вы Вологду знаете?

— Вологду не знаю, — ответил ты, — но знаю легенду о Пирре. Ему тоже нужно было и то, и другое. Друзья советовали ему отдыхать, а он отвечал, что завоюет сначала еще такую-то страну и такую-то, а потом уж... Разгрузите голову, Петр Николаевич. Дружески советую вам — разгрузите... Ну, а с издательством, — запнулся ты на минуту, — хоть я и не имею к нему никакого касательства, но...

— Никто не имеет! — воскликнул он. — Никто никогда! Куда ни ходил за эти три года — нигде не имеют никакого касательства... Ха-ха-ха! — искусственно засмеялся он снова. — Издательство висит в поднебесье, и земные учреждения не знают путей. Ха-ха-ха!

Его лицо исказилось. На нем мелькнули злоба, отчаяние. Этот сильный мастер и бессильный постоять за себя человек доведен был, кажется, до состояния, когда мог уже неведомо что наговорить, натворить...

— Вы не дали мне кончить, — поспешил ты перебить этот нервический смех, — я не имею касательства, но поговорю с человеком... И завтра же... Он позвонит в издательство и попросит дать вам редактора, с которым найдете общий язык. Да, да, кого-нибудь нетрусливого, умного... Идемте пить чай, — резко поднялся ты, чтобы переменить разговор, — Вам облегчат... Уверен, что облегчат. Это безобразие — три года тянуть,.. Идемте пить чай...

— Чай? — переспросил он. — Чай... Ну, что же, идемте... Моя мать говорила: чай душеньку отогревает... Идемте...

Прошло несколько месяцев, и я как-то спросил тебя, что слышно у Петра Николаевича.

— Не знаю, — сказал ты, — вероятно, печатается. В этой канители тогда обе стороны были повинны... Я видел эту злосчастную рукопись.

В ней действительно слишком последовательны люди, которых можно считать негативными. Издательство требовало поубавить им ума и порядочности. Он на это не шел... Честно говоря, на его позиции в этом длительном споре стоял в свое время такой заметный марксист, как Карл Маркс. Он разделял точку зрения Гегеля, что в настоящем художествекаждой стороне следует быть правой по-своему и торжество добродетели должно происходить не над дураками и злыднями... Ну, а издателям не нужно, конечно, битвы умов, им нужен покой... И вот не могли сговориться, что черкать, что сохранить. Но теперь, я полагаю, уладилось...

Во всяком случае, он больше не приезжал, не звонил...

Еще через несколько месяцев я застал у тебя красивую, дородную, но очень взволнованную и нескладно, впопыхах одетую женщину, пришедшую с трудно осуществимой придумкой.

— Один экземпляр, только один экземпляр... Умоляю вас!.. Понятно, что набор за мой счет. Чтобы только увидел, только взглянул! Ведь за несколько дней шесть раз камфара. В палате семь человек, он самый тяжелый... Умоляю вас, умоляю... Я же знаю, что это будет важней строфантина, важнее всего. Для него же вообще нет других радостей жизни, а эта книга была ему дороже себя... Как я билась с ним, как уговаривала! Боже мой, боже мой! — зарыдала она. — Ведь речь в общей сложности шла только о двенадцати страницах, двенадцати... Другой бы давно согласился, изъял их, а он пытался-пытался, не мог... Не мог против себя. ну. не мог... Поймите, мне только показать, только на пятнадцать минут. Я слово даю, дочкой клянусь вам!.. Сейчас же возвращу им набор и пусть рвут...

Она вытащила из сумки платочек, но руки ее так дрожали,

что на веках размазался не смытый за эти несколько суток карандаш для бровей. И губную помаду она нанесла утром тоже наспех... И маленькая лаковая модная сумочка была набита бумажками, засунутыми в совершенной растерянности неизвестно для кого и зачем. Женщина вытаскивала их, пыталась показывать, клала назад...

В кабинете находилась и Наталья Сергеевна, пытавшаяся утешать, обнадежить:

— Не волнуйтесь вы так, не волнуйтесь... Все будет хорошо, вот увидите. И разрешат этот набор, разрешат... Но надо в другую больницу, в другую... Почему неотложка отвезла к Склифосовскому? Ты сейчас же звони, - повелела она, — сейчас же звони! Чтобы создать все условия... А вы успокойтесь, успокойтесь, хорошая, милая, — стала она обнимать незнакомую женщину, — вы верьте мне, у нас столько знакомых перенесли, отлежались и молодцами теперь... Ты звони, звони, — торопила она тебя и принималась опять успокаивать женщину: — Петр Николаевич такой молодой, всего сорок шесть, организм еще крепкий, старики и то поднимаются. У некоторых по два, по три бывают. Даже думать не надо вам о плохом, даже думать не надо... А в типографии надо отблагодарить кого надо, и тогда это быстро. Отвезете ему, и он успокоится. Вы правы, что это будет лучше лекарств... Ну, звони же, звони!

Она верила в спасительную силу звонков...

Но ты не знал, кому позвонить. Не знал, скольким звонить. И возможно ли вообще звонить о таком... Был растерян от этого двойного напора. Неуверенно вертел диск и, не набрав до конца нужный номер, начинал с таким же сомнением набирать какой-то другой, но и его не докручивал...

— Подожди, Наточка, подожди. Дай подумать... Типографии здесь ни при чем. Они не могут без визы. Никто не

может, никто... И вообще...

Такого ведь еще не бывало. Набрать, чтобы тут же рассыпать... Надо сообразить. Сообразить, кто может взять на себя... И по телефону нельзя... О таких вещах по телефону нельзя...

Ты посмотрел на меня, молчаливого свидетеля сцены, словно я, непричастный ни к каким учреждениям и сам вечный бессильный ходатай, мог тебе подсказать.

— Я поеду, — поднялся ты. — Тут надо лично... Побывать у целого ряда людей, посоветоваться... Потому что просто так не решатся. Никто... Или кто-нибудь очень большой...

Женщина, тоже вскочила. Ей надо было назад в больницу, потом домой, за город, где дочка оставалась одна...

Мы вышли втроем. Дожидаясь такси, она пожимала тебе с благодарностью руки и снова начала плакать. Усадив ее, мы вошли в находившееся почти рядом метро. Но, когда спускались на эскалаторе, тебя снова взяли раздумья:

—: Ехать сейчас нет, собственно, смысла. Никого не застану уже...

И, едва мы спустились, ты повернул на соседнюю лестницу, плывшую вверх.

— Да, сейчас бесполезно. Уже восьмой час... Надо завтра. А на улице стал опять размышлять:

— Не знаю, кто на это пойдет... Беда и в другом... Она ведь сейчас не в состоянии думать, что будет дальше. Думает только о сегодняшнем дне, хочет, так сказать, заменить строфантин. Ну, а потом? Потом, когда он неизбежно узнает? Не женская ли это затея? Ведь она может привести еще к худшему... Как ты считаешь?

— Я считаю, что сейчас надо просто спасать.

— Но радостное потрясение—тоже ведь потрясение. Не знаю, можно ли проделывать это вот так, без врачей... Забыл спросить, согласовала ли она это с ними.

— Наверное. И от радости никто еще не умирал.

— А я не уверен... И, главное, не уверен, что в таком заблуждении можно будет держать его больше месяца-двух.

— За этот срок начнет зарубцовываться.

— Чтобы затем?.. Представляешь себе?.. Нет, я сомневаюсь, чтобы надо было добиваться, настаивать. Препараты есть препараты, их действие — худо ли, хорошо ли — проверено, а вот такая придумка... Но я, конечно, поговорю, постараюсь...

Петра Николаевича я больше не видел. И никто его больше не видел...

— Да, — сказал ты задумчиво, — это был один из немногих...

Рассказывали, что гроб завалили венками, Самый большой, говорят, был от издательства,.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1. Я промолчал

Я все реже заходил к тебе, постепенно перестал и звонить... Ко дню твоего рождения ограничился лишь поздравительной. Чтобы не звучать слишком тепло или холодно, она потребовала много труда.

Жена не хотела понять меня:

— Как можно ни с того ни с сего порывать отношения! Вы связаны почти всю вашу жизнь. Ты не мальчик, у которого завтра появятся другие друзья. Много ли их осталось вообще... И что он такого сделал, скажи!

Не лез на рожон, когда требовали от него невозможного?.. Добрейшие люди, всегда они к нам с открытой душой, и вдруг

нанести им пощечину!

Да, наконец, я просто хочу там бывать. Хочу, вот и все!

Я настоял на своем, и мы серьезно поссорились. Дней десять обменивались только самыми необходимыми фразами. А потом ты приехал ко мне. И спросил почти в тех же словах: «Скажи, что я сделал тебе?» Я видел, как ты поранен. Ведь обычно за праздничным столом у тебя тост поднимался и за твоего старейшего друга...

Это был утренний час выходного. Жена уехала по магазинам, чтобы мы остались вдвоем.

— Кое-что я замечал уже давно, — сказал ты чуть нервно. — Но такого никак не мог ждать... Перебирали с Натой в уме и не могли вспомнить ни единого случая, когда бы хоть в чем-то... Последний раз ты был у нас, когда приезжала... Значит, в ней, в нем дело, да? Но мы проследили по памяти весь разговор... И ты ведь не знаешь о моих разговорах в других местах... Ценил я его не меньше, чем ты. Но у него был глубокий... Чем могла бы тут помочь бутафория?! Но даже если тебе показалось, будто у меня не хватило настойчивости, то все равно в голове не укладывается, чтобы ты из-за этого... Нет, тут что-то не то... Давай выговариваться. А его, скажу кстати, не спасло бы ничто. Поражены были и задняя и передняя стенки.

— Не знаю...

— Вот именно! Не знаешь вообще очень многого. Не знаешь, что если бы он был транспортабелен, то его перевезли бы в кремлевку, что к нему сейчас же направили двух больших кардиологов и проводили консилиумы, что возле него непрерывно дежурили и..,

— И обо всем этом позаботился ты, — добавил я за тебя. — Не сомневаюсь. Как и в том, что во всех этих хлопотах могло не быть надобности.

— Я что же, — посмотрел ты на меня, словно на недоумка какого-то, — ответствен за положение в литературе? Может быть, и за непорядки на транспорте?

Ты встал, прошелся по комнате, взял со стола папиросу, что бывало с тобой крайне редко, неумело закурил ее и начал жестковато, внушающе:

— Слушай ты, несмышлениш! Слушай, что я буду тебе говорить.

Не перебивай меня, не ищи возражений. Только слушай и старайся понять. Если это дано тебе... Он, например, понимать не хотел... И по характеру, по натуре своей, в силу тех неизбежностей, что она диктовала, должен был кончить так, как окончил... Ясна моя мысль? Кто не умеет дать себя притереть, тот сгорает. И все! Для одних издательства — это пирушки, для него они были голгофами. Потому что он занимался, ну, как бы тут выразиться... ну, если хочешь, противоборством с действительностью.

— Чем подлинная литература занималась всегда! — не мог не воскликнуть я. — Что сделало прошлых русских писателей духовниками всего человечества! Они рвались к преодолению сущего. Всякого сущего. Любого и всякого! Стремились к пересозданию жизни. В этом и есть суть писательства. Его единственная настоящая суть. И опять-таки любого писательства. Оно все подвергает проверке, обо всем задается вопросами и...

— Допустим, — сухо перебил ты меня. — Но я просил тебя помолчать. И не о литературе пришел разговаривать. У нас речь о нас. Но ты верно сказал, что он все время задавался вопросами. Разве, однако, за наши полвека еще ни на что не отвечено?! А у него они вставляли один за другим и все допрешь бабкиных. Он заскакивал вперед и мудрил. Если ты вздумаешь ответить на это, что так и должно быть, что искусству положено

опережать жизнь, формировать ее и так далее, то мне останется опять повторить, что я здесь не для литературных дискуссий. И вообще надо мыслить реальностями. Слово у нас—вид оружия, писатель—солдат, он в шеренге, в строю, не смеет стрелять без приказа и не смеет вперед выпираться. Солдаты не умничают о роли искусства... О каких битвах с действительностью у нас может быть речь, если нельзя трогать даже и ту, что перестала быть настоящим, давно ушла в прошлое! Ничто не должно быть иначе, как есть. Понятно?! Ничто не должно быть иначе, как есть. А если писатели нащупывают в людях потребность в изменениях, в каких-нибудь новшествах, ощущают какие-то тяги, тревоги, тоску—пусть заливают эти мути вином. За водку писателей только журят, за оценочное движение мысли—лишают писательства... Короче говоря, он мешал. Мешал своими раздумьями. Они шевелили мозги, понимаешь?! Он докучал и гневил, путал карты, вносил беспорядок...

— Ученые тоже вносят беспорядок в природу, видя в этом свою цель и призвание.

— Не знаю, в чем и чье надо видеть призвание, но высший разум в наших условиях—не думать о том, о чем не положено думать. И умение ко всему привыкать, все сносить. Я знаю очень умных людей, которые похваляются этим бездумьем, как своим достижением...

— Это циники!

— Об их цинизме известно только кучке знакомых. А по тиражам их знают многие тысячи.

— Эти книги—однодневные мушки. А Петра Николаевича будут читать поколения.

— Нет, скорее всего современники. Все непечатаемое—вдвойне любопытно, и рукописи передаются друг дружке людьми, которые никогда не прочли бы изданных книг. А будет ли к этим вещам интерес у потомства—гадательно. Кроме того,

нельзя забывать, что представление о нас и память о нас зависят, милый мой, не от нас. Память надо поддерживать, иначе она испаряется... А затем я надеюсь, что вопросы, над которыми бился Петр Николаевич, потеряют для внуков свою остроту. В этой надежде мы, наверное, сходимся, а?

Ты тоже был циником. Нет, просто рассудительным и искренним. Но почему не доходило до меня то, что ты говорил, хотя оно было правильным? И весь ты был правильным. Я смотрел на тебя, вполне понимая, почему ты уважаем, ценим. Хорошая фигура, костюм из дорогой ткани, тонкая шерстяная сорочка... Все это спокойных тонов, не кричащее. И жесты тоже спокойные... Проседай, лицо молоджавое, честное, умное. Вежлив, благожелателен, прям. Ничего показного, наносного. Выше тщеславия, суетливости, политиканства, интриг. Идеал мужчины, каким должен он быть... На такого равно могут полагаться женщины, сослуживцы, начальники. Впрочем, к последним тебе приходится, вероятно, подчас приноравливаться, умалчивая о том многом, что тобой перечитано, познано. Вез этого бремени ты для них ближе...

Словно угадав мои мысли, ты продолжал:

— Можешь мне верить, что всюду, где представляется случай, я стараюсь внушить невозможность отказываться от всех писателей с «но».

Намекаю, что мы тогда без литературы останемся. Осторожно объясняю также саму разницу между нею и книгами, которыми заполняется рынок...

Но в истории с Петром Николаевичем я был бессилен. Издатели тоже. Да, да, и они. Эти люди были бы, наверное, рады и большим тиражом, и покрасочней... Не ищи виноватых! — воскликнул ты вдруг. — Не ищи виноватых!

— Это очень удобная формула, — сухо сказал я. — Очень удобная.

— А у тебя есть другая? Ты знаешь виновных? И можешь сформулировать, в чем их вина?

— В смерти большого писателя.

— Чепуха! Рукописей отвергается множество, а умирают от этого лишь единицы. Смерти — это не чья-то вина, а беда чьих-то плохих организмов.

— А смерти неизданных рукописей? Убить книгу—то же, что убить человека. Подчас много хуже.

— Да что ты все о книгах и рукописях! Какое ты к ним имеешь касательство? Можно подумать, что это ты их писал и это тебя запрещали.

— Не меня запрещали, а для меня запрещали. Касательство мое очень простое и очень прямое. Я человек, гражданин. А меня лишают возможности чтения. От меня скрывают все, что творится на свете. Меня информируют только о том, что желательно. Но это же трусость! Это же значит расписываться в несправедливости собственных действий! В бессилии перед тем, что скрывается! И какое неверие в меня, в весь народ!

— Но почему я — козел отпущения за все, что в тебе накопело?

— Почему? Потому что... потому что в тебе было много хорошего, и все оно смято. С чем ни обращай к тебе, — ничего не выходит. Не знаю, что для тебя сегодня важнее, — социализм, людские несчастья, служение чему-то, вера во что-то или же... положение, которое ты занимаешь, особый паек, антураж... Ну вот скажи, ты в душе во всем бываешь согласен со мной, почему же не скажешь кому-нибудь там наверху: «Слушайте, если вы, правитель, боитесь книг, фильмов, объективных известий о событиях в мире, считая, что все объективное всегда против вас, то побойтесь же в конце концов и молвы, всюду идущей о вашей боязни».

— Неумно,— сказал ты,— Неумно. Я всегда знал, между

прочим, что не будь советского строя, ты стал бы крупным демагогом на адвокатской трибуне. Перед присяжными.

— Вот, вот! Наконец я услышал от тебя и словцо, присущее твоим сослуживцам, начальникам. Как только кто-нибудь осмеливается что-то сказать им, так он сейчас же зачисляется в разряд демагогов. А на деле ты знаешь, что я полностью прав. Люди, находящиеся в таком патологическом страхе перед элементарнейшей гласностью, не в состоянии даже измерить, как они жалки.

— Поносить власти испокон веков свойственно было пьяным в трактирах. А ты трезв и должен бы знать, что дело не в лицах. Но я пришел сюда не за тем, чтобы вести политический опор. Я пришел узнать, друзья мы еще или нет...

От меня требовались «да» или «нет». А я промолчал. У меня в эту минуту не было друга ближе тебя,—с кем бы еще мог вести я такой разговор! — но я почему-то молчал...

— Ну, хорошо,— поднялся ты, побледнев,— не можешь решить — и не надо... А если со временем утвердительный ответ тебе дастся, ты придешь с ним ко мне.

Я не шел. Терзался и все же не шел. А через полгода послал тебе эту рукопись...

Глава 2. Ты мне пишешь

Это великодушно, что свою любопытную рукопись ты направил мне для прочтения. Но этот поступок, я чувствую, продиктован не столько кодексом чести, сколько сознанием моего грустного права первому узнать документ, передаваемый тобой суду пересудов. Да, твоя книга сумеет вызвать обо мне кривотолки, но не способна внушить читателю менее простецкую мысль о несводимости наших зол к чьей-либо индивидуальной вине.

. Твоя набитая делами, историями, картинами и сценами

книга публике, вероятно, понравится. Ведь она так непохожа на быстро наскучивший

новый роман — изощренный, но незанимательный, скучный. Впрочем, занимательность объявили теперь кое-где старомодной. От романа там требуют поменьше событий, поменьше связи между событиями, меньше ясности, меньше логики, меньше обдуманности, чем у тебя. Между мной и тобой почти не должно происходить диалогов, каждому надлежит говорить лишь с собой, говорить непоследовательно, перескакивая с одного на другое, как это свойственно самовозникающим мыслям, им следует прерываться, быть кусковатыми, теряться, как речки в песках, и ни к чему не вести. А в твоей книге, мой милый, есть порядок, есть сюжетный каркас, и она, надо думать, завершится сводным балансом... Это нынче не очень-то принято. Ты выходишь с романом в период, когда ломается его построение, и не считаешься с этим периодом. Или полагаешь, что не надо считаться, что твоя книга сама создает себе нужную форму? Нет, ошибаешься. Какая уж там новизна, когда сам признаешь, что это обвинительный акт, но только принявший обличье романа! А твой прием постоянной игры вставными новеллами призван только скрыть от читателя, где ты заимствовал форму.

И уж, конечно, еще менее новы мысли, которыми пропитана книга. Это старые-старые правды. Такие старые, что даже не знаешь, относить ли их к поре острословов из французского галантного века или еще ко временам либералов Ювенала, Тацита, Лукиана. Во всяком случае, читателя пожилого и знающего ты своим вольнолюбием не поразишь.

Нет, у меня не получится последовательного письма, которым думал ответить тебе. И не знаю, какого тона держаться. Ты прислал мне рукопись, предназначенную жалить меня, но я не стану отвечать тебе тем же. Не буду ни язвить, ни

отшучиваться. Моя нынешняя жизнь впрямь, вероятно, непохожа на ту, какой рисовалась она нам лет сорок назад, а нынешняя справедливость — на ту справедливость, что мы носили когда-то в груди. Значит, не след мне от твоей книги отбrehиваться. Но я не верю в твое духовное превосходство, мой милый. Ты суетливей меня, восприимчивей, сохранил больше чувствительности, но если у меня нет лада с собой и я не знаю, как налаживать жизнь, то из написанного тобой не увидать, чтобы ты представлял себе это лучше...

И еще я не верю во враждебность ко мне, которую ты будто бы стал вдруг испытывать. Это напускное, мой милый. И способен ли ты вообще ко вражде? Я помню гада Сеньку Княжевича... Пытаясь избавиться от надоевшей жены, он подпоил ее на вечеринке, полураздел, усыпил, направил к ней пьяного парня, а затем вбежал в комнату и разыграл из себя потрясенного мужа. Нашел ты в себе к такому мерзавцу достаточно ненависти? Нет. Когда его изобличили, а он плакал, каялся и бил себя в грудь, ты над ним сжалился и голосовал против его исключения. Через несколько лет, в 37-м, в наступившем безлюдье, Сенька всплыл вверх, стал областным прокурором, и, слыша о его страшных делах, я вспоминал твою жалостливость... Теперь же, когда мы оба живем с подкармливаемыми валидолом сердцами, ты вдруг выдумал, будто чувства, которых тебе не хватало для Сеньки, неожиданно нашлись для меня. Кто поверит тебе?! Твоя ненависть литературна, дружок.

Пожилые люди, да еще высокопоставленные, обороняют себя от вестей, отражающихся на кровотоке. Ты же всегда приходил ко мне с такими вестями, и я не избегал выслушивать их.

Да, мой дед вытаскивал из грязи обозы, а я не хотел для своей дочери мужа-монтера. Значит, принадлежу к новой касте? Подтверждаю этим примером, что течение времен, идей и

воззрений — круговороты, в которых все повторяется? Нет, дело обстоит немного иначе. Прошрое я повторил бы, наоборот, только в случае, если бы по собственной воле породнился с пьяницей-слесарем, отбросив тем самым подъем нашего рода или, если хочешь, движение мира на четыре поколения вспять.

Я всегда подчеркнуто крепко жму руку людям, с которыми другие здороваются вскользь и небрежно. Но уважение к зятю не должно быть таким же намеренным. С ним я хотел бы иметь общий язык.

Лекарство привозное и редкое, отпускают его по рецептам и выписы-

вают их лишь немногим. Мне же девушка-фармацевтка выдала его просто так... Я улыбнулся ей, поласкал глазами ее миловидную, хотя и простоватую мордочку, она просияла и вынула из какого-то ящичка. А ты просил бы ее полчаса и не выпросил бы... Не завидуешь ли ты мне в чем-то немного? Неосознанно, смутно...

Это правда, что мне редко удавалось помочь в твоих многочисленных хлопотах. Тебе не везло. Верней, мне у тебя не везло. Так получалось. И потому все новеллы второй части книги—о человеке безвольном, с убитой энергией. Но ведь это подобрано, нарочно подобрано, чтобы изобразить меня нерешительным, вялым, никчемным. На деле же все со мной обстоит не так плохо, как в этой однокрасочной книге. Почему, например, ни слова не сказано об истории с К., которой достаточно, чтобы меня после смерти направили в рай, а не в ад? Или ты позабыл это дело? К. осужден был за связь с Н. Н. и затерялся на Севере, когда Н. Н. давно выпустили. Разве не по моему настоянию разыскивали его по тайге? Разве минуты, в которые он, радостно плача, пожимал потом мою руку, были менее стоящими, чем те неудачные, на которые ты особенно памятлив! Почему же твоя рукопись отнимает у меня эти дорогие минуты, молчит о них?!

Ты был свидетелем его визита ко мне. И, в частности, не можешь не помнить, как он пытался тогда возвратить тысячу двести рублей, переведенные мною ему телеграфом, чтобы возвращался он самолетом, не провел на каторге ни одного лишнего часа. Ты не можешь не помнить, как я предложил ему передать эти деньги какому-нибудь другому человеку в беде, чтобы ходили они по неведомому священному кругу... Можно об этом прочесть в твоей книге?! Зато в ней отведено немало страниц погоне за игрушками быта, увлекающими Наталью Сергеевну. Разве ее слабости приносили кому-нибудь вред?..

Покойный П. Н. рассказывал мне, как порвал однажды главу начатой повести, потому что вымысел оказался не ярче действительности. А у тебя только действительность, и притом обнаженная. Ляпаешь обо всем так, как оно происходило в природе, начиная с истории казака-перебежчика, и кончая сорочками, подаренными Натальей Сергеевной Лиде. Ну, зачем эта военная мутность и эта трикотажная точность!

Мне вовсе не нужно оспаривать тебя и оправдываться, — этот роман все равно никто не издаст. Зачем ты писал его? Неужели рассчитывал, что удастся пробить? В таком случае надо дивиться твоей чересчур затянувшейся молодости...

Читатель никогда не поймет, отчего ты приписываешь своему персонажу ответственность за все наши беды—за испорченную юстицию, за окаменелость печати, за невозможность подать о чем-нибудь голос эт цетера.

Это книга о каком-то сановнике, сибарите, стареющей даме в штанах, человеке, который к господам жизни относится. И ни слова о том, что к нему все чаще и чаще подступают ночные часы, которые никакой люминал не берет...

Все время не удастся сказать что-то главное. Ты написал роман, возлагая на меня вину за наше время, и мне надо бы очиститься от этой ответственности, доказать, что нельзя

переобременять меня ею, надо бы выговориться, отчаянно надо, потому что нельзя всегда все держать про себя, но я никак не ухвачу то звено, с которого следует начать разговор, а чую, что в нем вся суть, и найди я его, стало бы ясно, как ты неправ и... ограничен.

Ты вот хочешь ломать, изменять, улучшать наши дела, наши ведомства, нравы. Очень хорошо. Но разве дело лишь в том, чтобы наши программы осуществлялись с меньшею болью, чтобы вымирало меньше писателей, правдивее было печатное слово и можно было иногда вставить свое?! Ох, как это куце! Ведь все, о чем у тебя идет речь, исправимо. А уж если быть тоскователем, то по недостижимостям подлинным. По недостижимой поэтической эре...

Опять ушел в сторону. Что-то нащупал, а потом ушел в сторону. Мне надо было просто спросить тебя, чего ты от меня хочешь. Чтобы я клял порядок вещей, при котором не могут осуществляться такие-то правды? Но я не могу ничего клясть... Я не знаю, перевешивают ли мои правды правды людей, установивших бесправие. У меня только мой здравый смысл да обывательская потребность в непредвзятом освещении и обсуждении жизни, рулевые не смущаются отказывать мне в этих простейших моих притязаниях, я ропщу, но одновременно чувствую, что их уверенность куда крепче, чем моя и твоя. Мы с тобой полагаем, что ничто не должно делаться, если делается это без нас, а они делают все именно так и, значит, убеждены в правильности принимаемых ими решений. А разве у нас с тобой есть такая же убежденность в правильности каких-либо противоположных шагов? Допустим даже, что на самом деле им не всегда и не очень известно, как поступить, а они все же поступают по-прежнему, — все равно не нам с тобой состязаться с такими несокрушимыми волями, с таким упорством характеров...

Эта безоглядность—огромное их преимущество перед

далеким от власти рядовым человеком, в котором теснится самое разное. Благожелательность и неприязнь в таком человеке то соседствуют, то живут попеременно и путаются. А если к тому же он привык еще и книги читать, что ведет, как известно, к бесконечным раздумьям, то трудно ждать от него воли и действий. Так имеет ли он моральное право клясть тех, кто владеет ими?.. Он остается способен только на то, чтобы время от времени стараться урывать для кого-нибудь — ей-богу, меньше всего для себя — чуть-чуть Конституции...

Я вполне сознаю, что за полвека у нас не возникло ни одной новой творческой мысли по устройению общества. Подавлялся всякий проблеск самостоятельности в раздумьях об организации жизни и самое ее проявление. Но я столь же хорошо сознаю, что у меня-то нет ничего за душой, кроме такого сознания... Что мог бы я предложить, на чем бы стоял?..

В мире враждуют два старых учения, но эта вражда большинством людей не испытывается. Для последовательной и нравственно чистой, то есть отрешенной от всего личного ненависти нужна вера, которая противостояла бы усталости от этой вражды, а такой веры становится на свете все меньше. Тем настойчивей призывы к борьбе. Ведь учения могут гаснуть, тускнеть из-за отсутствия у людей потребности в ненависти...

На Западе люди ощутили опустошенность сытого общества, и их охватила тоска, разьевавшая когда-то античное общество. На востоке они отшатнулись от раскрывшихся перед ними злодейств, переплетавшихся с созиданием нового мира. У нас пытаются вырвать страницы истории, чтобы заменять их другими, силятся выжигать эти страницы из книг, из человеческой памяти, а все равно эти злодейства дали не меньше окраски нашей эпохе, чем ее большие всамделишные благие дела. Читая в газетах о пламенной вере, которая им там приписывается, люди чувствуют, как глушит в них эта неправда и ту веру, что еще держится в каких-то складках души, и чувствуют,

почему в стране бесконечно склоняется имя вождя, умершего почти полвека назад, но призванное прикрыть наготу настоящего...

Нет, нет, я написал чепуху! Если бы во мне вовсе не было веры и власть представлялась одной *Force majeure*, я атаковал бы ее своей головой, как птица-самоубийца, бьющаяся о скалу, пока не упадет окровавленной. Для этого было бы необходимо сознание, что противник мой — сила в самом деле слепая, что это бесформенный скальный гранит или истукан с прорезями глаз и губами. Лицо у него или обличье — все равно они каменные. Вот тогда б я сражался! Тогда сказал бы себе, что лучше сгореть, чем сгнить. Тогда готов бы безумствовать, разбиться, взорваться, кончить insultом или издохнуть на лагерных нарах. Но ведь этого нет. Из прорезей то и дело показываются человечьи глаза. Людям строят дома, места увеселений, учебные залы... Откуда же братья решимости разбиваться о камни? Во имя чего?

Пусть у меня временами бывает ощущение плена. Но то у меня. А кум мой не знал бы, что делать со своими свободами, если бы ему их вдруг предоставили. Нам с тобой кажется нужной толкотня разных суждений о прошлом, о нынешнем, о человеке, о мире, отсутствие такой толкотни подчас равносильно для нас отсутствию жизни, а ему такая сумятицапоказалась бы хаосом, пургой, он увидел бы в ней нежданно возникшую враждебную силу... И рассуждая о своих извечных проблемах, ты не,себя, а его должен бы держать в голове.

Он, разумеется, поругивает управляющих государством за то, что им не приходится стоять в очередях у прилавка и живут они в собственном, полностью устроенном мире, намертво отделенном от прочих. Хотя у него есть орден Славы, четыре медали, и этого как будто достаточно для красования по праздничным дням, он, напившись, припомнит и то, что ему в жизни недодано, будет оспаривать звездочки, которые

начальники страны сами себе да навесили, и не напоминай они ему о себе каждый день через говорящие ящики, он сам о них и не вспомнил бы. После низвержения культов упала не чья-то икона, а целиком повалился киот, и в стране теперь нет человека, который был бы для моего кума моральной инстанцией. И все же... Все это для дворового слесаря вовсе не главное и не определяет его отношения к ходу дел на земле. Определяют его унитаз, ванна и краники, сменившие черную баню и дворовый сортир. Определяет его холодильник, привнесший в семью нынешний признак зажиточности. Определяет его, далее, футбол на экране, возмещающий зрителям безучастие в политической жизни участием в лужниковских страстях. А страсти эти сближают людей, делают их людьми одного интереса, прибавляют к теме погоды еще одну общую. И роднит еще всех сидящих перед своими экранами зрителей теплота в горлах, блаженство отрывок и поволока в глазах... Он не мне кум, этот кейфующий квартировладелец, он кум королю, и что ему до наших с тобой раздумий о всяческих грызущих вопросах! ,

...Хлещет сейчас где-то вода из непослушного крана, грозит затопить этажи, прибегают люди в растерянности к дворовому слесарю, сулят ему за спасение то и другое, но нет такого закона, чтобы отрывать его от экрана! Дежурный слесарь в штате отсутствует, а тот, что уже отработал свои семь часов, может снизойти до просителей, а может вальяжиться. В его воле устранить неисправность или попросту выключить воду, а то и предложить затопляемому звонить в пожарную часть... Все свободы, которыми мог бы, воспользоваться, у человека этого давно налицо, и если бы даже он одолел твой роман, не взволновался бы твоими проблемами. Нечего думать, что он пошел бы с тобою, смутьяном, против порядка, хотя и поругиваемого, но привычного и явно устраивающего. Порядок этот п о нем, и у него нет тех вечных дум о его неустройствах, которыми изводишься ты. А всякие духовные ценности,

служащие тебе неизменным критерием для суждений о том и о сем, для него — никакая не мерка.

Не помню, у какого мемуариста читал я о царском любимце, к которому сановники приезжали в золоченых мундирах, а он принимал их в бане голым, распаренным. Вот так же неуважительно встречает жильцов своего дома мой кум, когда они, не дождавшись его посещения, спускаются к нему сами в котельную. Что ему жильцы и мольбы! У членов правительства или начальников ведомств есть, наверное, немало тайных соперников, но никто не стремится захватить место дворового слесаря. Нищенский оклад делает его независимым и позволяет обращаться к бутылке четырежды в день... Помнишь, сколько прежде водки лилось? Она стоила немногим больше воды, и ее подносили любому захожему, словно брали из крана. Теперь за нее платят больше того, во что обходилось прежде шампанское, а потребление ее все же возросло за советские годы в шесть раз! Вот как денежен кум мой, как доступно стало ему одно из первейших жизненных благ! Так неужели можно рассчитывать, что ты проймешь его разговорами, безынтересными ему, как ты сам!

Чего ты достигнешь своим поведением? Если мы перестанем встречаться, то тем паче осуждены к диалогу. Мысленному и постоянному.

К чему ты в конце концов призываешь? Чтобы я опустился до противоположности нашей жизни и себе самому? Ведь ничего другого не может быть, никакой новой программы жизни не выдумано. Если бы такая вдруг появилась — неслыханная, убедительная, берущая за душу, — я, может быть, не глядя на>:возраст, и пошел бы за ней. Но не могу вообразить себе гения или электронную штуку, которые оказались бы умнее всех человеческих умов, вернее, настолько иначе устроенными, что выпрыгнули бы из рамок нынешней мысли, высвободили людей из-под власти господствующих сегодня понятий и повели

человечество совершенно иным, неожиданно ясным и легким путем.

Твой бунт—бунт против себя самого, ибо в твоём мозгу нет и не может быть ни единой идеи, так или иначе не связанной со строем наших идей.

Чем больше стареешь, тем яснее становится, что на жизнь надо смотреть со светлой и тихой улыбкой, а к тебе это понимание не пришло, твоя рукопись шумлива и желчна. В ней нет даже коротких прибежищ, хотя бы маленьких полянок, лужаек, на которых можно бы сделать роздых, привал, нет смеха, который хоть на минуту-другую осветил бы лицо... Ты никогда не был весельчаком, тебе всегда не хватало бездумности, а тут уже просто угрюм... Читать книгу должно быть удовольствием, а здесь сплошь напряженное мышление.

Да, у нас многое не может быть приемлемым для думающих, чувствительных, тонкокожих натур. То, что есть в человеке истинного, не позволяет ему жить воедино с газетной патетикой. Будь это иначе, сливайся действительность с тем, как она ощущается, эта патетика вообще и не требовалась бы. Она призвана заглушать несогласие. Мое несогласие с моей немотой... Но скажи, был бы ты счастлив, если бы смог променять ее на право громкого голоса, вдруг предложенное тебе Провидением в каком-нибудь из прошлых отсеков истории или в одной из нынешних стран? Приходило тебе это когда-нибудь в голову, а? Воображал ли себя перенесенным на ту людную улицу или в тот закоулок отживших веков, где мог бы воскликнуть: «Вот это по мне!»? Если бы даже мог там в досталь витийствовать, изрекать что угодно... А из наличных сегодня стран зарубежья мог бы подобрать себе хоть одну по душе? Нашел бы такой микроклимат, такой порядок вещей, что сказал бы себе: «Я тут дома?!»

Нам дано лишь то, что дано. Я не хочу в этом споре во всем защищать свое время, но только оно есть мое.

Да, это давит, ранит, кусает, когда твои представления о справедливости — это одно, а ход вещей, устройства, нравы — другое. Но вдумайся, так ли уж твои нравы добры, так ли отличны от заведенных у нас? Ты вот отрекаешься от друга из-за того, что он безропотен там, где, на твой взгляд, нужны бы крики и ярость. Выходит, что ты тоже нетерпим, непреклонен и, значит, сродни нашим правителям, о несговорчивости которых вопишь. Ну, не абсурдно ли?!

И еще хочу тебе вот что сказать. Мы с тобой учились не только по общечитаемым книгам, но и тем, что берут сейчас в библиотеках лишь очень немногие. Они невытравимо вошли в нас, и душа неизбежно тоскует, когда ход вещей, действия или слова оказываются далеки — далеки от наших понятий. Но в твоём возрасте давно бы пора сознавать, что наши мысли, настроения, чувства — только наши, не больше, чем наши...

Порвав со мной, ты не станешь прав за мой счет, а вот одиноким ты сделаешься...

В отличие от тебя я не умею написать цельной главы. Мой ответ тебе — разновременные наброски, и только. И не за себя, а за тебя самого я задаюсь в них вопросом, нужно ли ты этой книгой затеял...

Зачем рассказал мою жизнь? Какая тут мысль? Чтобы люди увидели, куда я скатился? Но я никуда не скатился. Ты же сам не скатил меня. Не сделал из меня негодяя, на что намекалось вначале, сюжетно застрял на полпути. Или это и была твоя мысль — изобразить застревающего? Но на пути к чему в таком случае? К тому ли, чтобы человек совсем измерзавился или, наоборот, кающимся грешником стал?

Опять перелистывал... И хотя здесь речь обо мне, о семье моей да о людях и случаях, вскрывающих постепенное мое очерствение, мой отход от заветов молодых наших лет, но слышалось на этот раз и другое — в "тих строчках разлита

печаль о чем-то не достигнутом нами, о недоосуществлении жизни вообще... Вот что я тебе об этом скажу.

Большинство людей преследует маленькие цели, мы с тобой задавались большими. И это сбilo нас с толку. Слишком много было прочитано, слишком многое узнано, а разгрузаться от этого нам не удалось. Мы и по сей день мудрствуем-мудрствуем изводимся умственностью и тщетно ищем исхода ей. Поэтому кажется, что мы не так прожили, ничего не закончили. А может быть, не то затевали? Не так затевали?

Мне попалась недавно книжка, читанная худеньким пареньком в далекое время. Галочки, обильно рассыпанные здесь на полях, ставились бы нынче в других местах или не ставились вовсе. Этот паренек всё читал иначе, видел и слышал иначе, чем мужчина, у которого за проплывшие годы давно расширились и снова сузились плечи, давно отчеканился, а потом стал отвисать подбородок. Да, да, я ведь наблюдаю этого мужчину каждый день в зеркале и прослеживал этот процесс, который ты выдаешь за отступничество, а в физиологии он зовется старением. Этот мужчина уже не может читать восторженными или полными гнева глазами, — ему мешает знание тысяч других книг. А ты требуешь от него воинственности и темперамента молодости, которая по твоему наущению лезла бы в драки и руками размахивала...

В молодости враг был мне так явен, как потом в войну, когда он перед нами в траншеях сидел. Цель жизни тоже была осязательна, словно перочинный ножик в кармане. Потом очертания врагов и друзей стали мутнеть от трагических путаниц, от колдовских превращений, с которыми народы и люди оборачивались к нам новыми лицами, а будущее все отдалялось, все опять и опять отдаляется, не становясь настоящим... Но прошлое не испепелилось от этого в труху из засушенных цветов девичьих романов, не стало тряпьем предков на чердаках или рисованным, несостоявшимся миром. Нет, оно где-то во мне.

Да, у нас не может быть книг, которые поражали бы умы. Мало таких, что оставляли бы в душе длительный след. С трибун не услышишь ни одной мысли, привлекающей новизной, даже просто возбуждающей интерес. Едва ли найдется хоть один человек, который сам не знал бы того, что оттуда вещается. Против оригиналов, если они появляются, спланиваются плотной стеной. И оттого на всем, даже на праздничных наших убранствах, выцвели краски, все подернуто какой-то мертвенной сухостью. Но только подернуто. Дух прошлого вовсе не мертв. Попробуй занести над ним руку, и он оживет.

Это все только наши проблемы, за рубежом не поймут их.

Накопившееся в тебе раздражение требует ломок. Но бить и кромсать — недотепистость. Все существующее может преобразовываться. Я не раз слышал от Петра Николаевича, что нам только очень нужны два расширения: словаря нашего и представлений...

Чем больше листаю твою рукопись, тем меньше понимаю, о чем и зачем я должен был в рог трубить...

И в чем, обличитель, твой вариант разрешения наших вопросов?

Только друг с другом мы могли вспоминать заимку под Нижне-Удинском, где ели когда-то самую варварскую и самую вкусную в нашей жизни еду: тетерок и рябчиков, зажаренных в брюхе подсвинка. Только друг с другом могли вспоминать, как запутались в лабиринте ходов, коридоров и комнат здания ВЦСПС на Солянке, показавшегося нам грандиозным. Только друг с другом мы могли вспоминать церемониал посвящения двенадцатилетних ребят в молодчаг, когда без передышки сглотнули по жбанчику пива и, обалдев, свалились от этого. Только друг с другом мы могли вспоминать, как долго всегда были вместе, сколько судеб и сколько разделов истории прошло на наших глазах... Ну, рви теперь со мной, рви. Но вспоминать тебе будет не с кем... Понимаешь ты, что означает, когда

вспоминать уже не с кем?..

Порывая со мной, ты перерезаешь свою жизнь. Отказываясь от меня, ты отказываешься от себя.

Разочарованный в попытках переустроить мир, Герцен писал Огареву: «Все глупо, все безвыходно, все безумно». Через сто лет кинорежиссер ставит фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир». ...И за эти неисправимые безумства истории ты делаешь в ответе меня... Безумный, безумный, безумный автор!

Слова потому так похолодали, утратив свою сокровенность, что твердим их без перифраза пять с лишним десятилетий подряд. Это физиологически объяснено было Павловым. Он писал (ст. 248 IV тома), что при длительном повторении действие раздражителей ослабевает, условный рефлекс исчезает, наступает состояние, названное им тормозным. Повторяемость, учил он, приводит к тоске...

Из-за повторяемости слова превратились в рутину, люди давно перестали думать о них, они утратили возможность удивлять, привлекать, заявлять говорить о себе и... как раз по этим причинам являются вполне подходящей религией для безрелигиозных людей.

Перечитал написанное. Вижу, что крайне сумбурно и длинно. В статьях, выпрашиваемых у меня изредка центральной печатью, я, говорят, логичен и краток, но когда объясняешься с другом, пусть даже бывшим, то хочется сказать очень разное, а состояние при этом далеко от спокойного, и лишаешься дисциплины письма. Смысл его получается тоже какой-то не тот. Наговорил я тут многую всячину о том, что вне нас и чему все равно мы никогда не сможем придать единый и окончательный смысл, а хотелось говорить о другом, хотелось сказать, что, разменяв шесть десятков, нам становятся дороже всего в жизни привязанности...

Надо какой-то итог подводить, а итога, собственно, нет, есть

тоска...

Передай мои приветы своим и вчувствуйся в мое предложение: что если нам взять себе обоим за правило соображать перед сном, кому бы мы утром могли сделать что-то хорошее?..

Глава 3. Итога, собственно, нет...

Это письмо нашла и молча отдала мне Наталья Сергеевна. Сам он почему-то не отсылал его, медлил. Может быть, хотел переделывать.

«Он!». Впервые не «ты». Кто мог думать, что буду заканчивать в третьем лице...

Но заканчивать надо. Чтобы взять все страницы назад...

Вчера было три месяца... Уже не мечусь и не плачу, уже прошло состояние, в котором хотелось бить себя, колотить, стучаться головой о стену. Улеглось, поутихло. Сменилось навсегдашней тоской... Временами еще всполошивает острая боль, но потом она растворяется в коньяке, в мединале, во сне, и утром идешь за картошкой, за булками...

Помощь жене... Если б в то утро я не пошел в магазины, еще мог бы застать... Но когда Сергей лихорадочно два раза звонил, я стоял за цыплятами, потом оливковое масло искал...

Бесполезно себя успокаивать, спрашивая, что изменилось бы, если бы он коченел примиренным. Нет, если бы успел взглянуть в глаза мои, увидеть, что во мне делается, если бы я прижался своей щекою к твоей,— все обстояло бы для нас обоих иначе... Но я поспел только к связке мышц и костей, беспомощной перед людьми, привычно и грубо ее распрямлявшими и уложившими в ящик, повезя на расправу...

А потом дни сумятицы... Нашествие знакомых и незнакомых людей, беспрестанно звенючая нудь телефона, медицинские сестры, делающие уколы Наталье Сергеевне, ее вскрик «Нет,

нет, не надо!», когда до нее донесся разговор о кремации, прилет потускневшей и потерявшей запальчивость Лиды... Затем Новодевичье—этот город привилегированных мертвых, непохожих друг на друга при жизни, но снискавших себе совсем одинаковые похоронные речи; разрывающий душу Шопен, и неожиданно забившийся над открытым гробом Сергей, с которого в последний момент слетело все напускное; ошеломленная, смотревшая невидящими глазами на мать и на мужа, двигавшаяся в прострации Лена... Потом приготовленная какими-то женщинами тризна в квартире; стол, уставленный уже не паштетами, а колбасами и консервными банками; сидевшая безучастною гостьей Наталья Сергеевна с начавшей вдруг трястись головой; поминальные слова, хотя и душевные, но кошунившиеся плотной и деятельной, не приличествующей моменту и месту едой и питьем прозябших людей; потом приглушенные разговоры друг с другом о слишком просторной квартире, которую могут забрать теперь и дать взамен меньшую, о пенсии, которую начислят вдове, обо всем этом серебре на столе и в буфете, которое Сергей промотает с девицами...

Я прошел в твой кабинет... Стеллажи высились до потолка и обнимали комнату со всех сторон, словно рама. Книги в них стояли вприжим, в два ряда, задние давно стали неизвлекаемыми, и от них шел вместе с легким запахом пыли аромат твоих рук и дыхания, телесного и бестелесного твоего существа... Я опустил на стул и начал усиленно сосать папиросу... Все эти книги я знал и почувствовал, что распад твоей личности, улетучивание твоего аромата начнутся именно с этой, с твоей, с нашей комнаты. Когда ее будут растаскивать, забирая каждый раз столько, сколько войдет в чемодан, то не станут задумываться даже над порядком и признаками, по которым книги обращались к тебе, а ты к ним. Будет ли знать человек, которого роднят с тобой только гены, что охапка, которую он заберет, это римляне, что вот на том стеллаже — Ренессанс, из которого идея человечества выбилась в свет,

дальше — век, пробудивший идею его воспитания, здесь — шестидесятники, открытые нами еще до студенческих лет, тут — философы права, чувство которого не оставляло тебя во всю жизнь, а вот в этих заново переплетенных томах — давно ставшие редкостью протоколы заседаний партсъездов первых революционных годов... Представляю себе, как торопливо чемодан будет уставлен в багажник, с каким нетерпением и нескрываемой скукой будет ждать продавец, пока букинист все переберет, перепишет.

Вошла Лена, ничего не сказала и села на свой девичий стул. Я подошел и обнял ее. Мы стали вместе молчать. Заглянул ее муж, но она едва обернулась. В эту минуту я был ей ближе. В комнате, где вместе с папой и в папе жили все эти знания, мысли, миры, я был ей ближе... Но неестественно, нереально и странно было быть у тебя без тебя...

А потом понемногу ввалились курильщики... Лена вышла. Чтобы вывести ее из безжизненности, муж настойчиво увел ее в спальню, где женщины уложили в постель привезенного еще утром, но не хотевшего спать в неурочный час малыша. Зачем он был тут, в этом хаосе? Не с кем было оставить? Или призван был разжигать своим присутствием горе? Но ему тоже не по себе было от множества незнакомых людей, он плакал, капризничал, а Лена, подсев к нему, не возвращалась к действительности.

Этому вчера было три месяца...

Жизнь взяла за это время свое.

Борозды на лице Натальи Сергеевны уже не разгладятся, голова ее еще временами покачивается, но виски я увидел на днях уже не серебряными. Она занята заказами портрета и памятника, сменой цветов на могиле, вытиранием пыли, телефонными разговорами с дочерью, приготовлением ужинов для друзей и девушек сына, которых он привозит теперь

вечерами, чтобы не оставлять мать одну. Сергей быстро исхлопотал повеление жэку не посягать на квартиру, избавляется от своей старой «Волги» и приобретает «фиат», уговорил мать продать для этого вещи, развозимые им по комиссионным магазинам Москвы, и не оправдал только моего опасения о разбазаривании отцовской библиотеки охапками. Он оказался догадливей, чем мне это думалось, договорился в библиографическом институте с какой-то студенткой, она приходит теперь после занятий, встает на стремянку, роется, сгружает, поднимает наверх и составляет для фирмы «Букинист» каталог. Лена в действия брата не вмешивается, к вещам безразлична по-прежнему, но не была недовольна, когда мать отдала Виктору два отцовских костюма, а потом привезла его именные золотые часы, чтобы они сохранились для внука... Да, жизнь берет постепенно свое... И только я ощущаю, как она навсегда для меня оскудела...

Пока подавленный смертью Петра Николаевича, которую приписывал твоей нерешительности, я строчил для тебя и неизвестных читателей эту злосчастную книгу, моя отчужденность ею поддерживалась и полгода питалась. Пиша, я сам себя подговаривал, наущал, растравлял. Твоя жизнь была для меня все это время образчиком и вместе закланием. Но вот книга написана, теперь нужен новый заряд, нужна свежая пища для ума и для гнева, и... некуда за этим идти. Стало пусто...

Нас было только двое на свете, которые могли вести эти споры. Только двое, помнивших равно «Азбуку коммунизма» и «Борьбу за право» Иеринга. Где найти в мире третьего, возвращенного на таком сочетании?! Те, что выросли ныне, поумнее нас, деловитее. Жизнь для них — автоматика, бюллетени технической информации, женщины, автомобили, морские курорты, коньяк... Они не тратят невозвратимые ночи на попытки очеловечивать мир, а дни — на возню с неудачниками. Они над нами "осмеиваются..."

Среди ночи меня прорезает жгучая мысль... Увидя свою рукопись набранной, Петр Николаевич, может быть, выжил бы. Но и ты, не потерпев от меня, тоже, может быть, жил бы... Ведь скоропостижного ничего не бывает, все назревает, накапливается... Ты месяца полтора или два писал мне, писал... Значит, все это время тебя давило, сгнетало...

Боже мой, боже мой ! Куда теперь от этой мысли уйти... Как мог я тебя обвинять, не хотел понимать! Ведь ты, как и все, был сжат, сдавлен, стиснут реальностями... Нет, я понимал, понимал. Но, понимая, изъязвлял тебе душу. А вместе с нею свою. Ведь споры с тобой — это споры с собой. Они велись не между нами, а в нас. Душа у нас была общая... Знаешь, я сейчас даже не очень уверен, что не перепутал где-нибудь на этих страницах событий из нашего далекого прошлого, не приписал тебе какой-нибудь выходки, которую следовало бы отнести к нам обоим или даже только ко мне. Вот перелистывал, и вдруг показалось, что стихи о клоповнике, которыми мы вымогали у владельца гостиницы комнату, сочинял я, а не ты... Надо бы все заново перебрать сейчас в памяти... А, впрочем, зачем?.. Никому абсолютно не нужно. Так же не нужно, как доспоривать теперь в одиночку...

Слушай, а вдруг... вдруг есть где-нибудь и еще одиночки?.. И тоже изводят себя, затрачивают невосстановимые ночи и, ломая вечно напряженные головы над попыткой снизить на земле количество горя, понемножку убивают друг друга, себя... Ведь вот на твоей душе лежит, быть может, смерть Петра Николаевича, на моей — только бог это знает — твоя, а ведь никто никого не победил и не мог победить, все недоспорено... С этой мыслью мне было бы как-то легче уйти. И, знаешь, она вероятна.

— Итого, — сказал ты, — собственно, нет... Значит, кто-нибудь где-нибудь, возможно, ищет его... Облегчи ему бог...

Публикация М. И. КАНЕВСКОЙ

(ПОМЕРАНЦЕВОЙ) 1970 г.